ЛЕРМОНТОВ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
Б. М. ЭЙХЕНБАУМ и Э. Э. НАЙДИЧ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА
1962

Ответственный редактор
Ю. Г. ОКСМАН

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое, и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте однако после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!



Часть первая

I

БЭЛА

Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Бо́льшая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастию для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтобы успеть до ночи взобраться на Койшаурскую Гору, и во всё горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно-вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской Горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица,— а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За моею тележкою четверка быков тащила другую, как ни в чем не бывала, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сертук без

эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он, молча, опять поклонился.

— Вы верно едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощию этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня:

— Вы верно недавно на Кавказе?

— С год,— отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

— А что ж?

— Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

— А вы давно здесь служите?

— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче, * [1]— отвечал он приосанившись.— Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком,— прибавил он,— и при нем получил два чина за дела против горцев.

— А теперь вы?..

— Теперь считают в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но, благодаря отливу снегов, мы легко могли различать дорогу, которая всё еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз на долину,— но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

---

* Ермолове. *(Примеч. Лермонтова.)*

— Ведь этакой народ! — сказал он: — и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «офицер, дай на водку!». Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие...

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье, за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика.

— Завтра будет славная погода! — сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

— Что ж это? — спросил я.

— Гуд-гора.

— Ну так что ж?

— Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей. и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахну́л сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

— Нам придется здесь ночевать, — сказал он с досадою: — в такую метель через горы не переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? — спросил он извозчика.

— Не было, господин, — отвечал осетин-извозчик: — а висит много, много.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастию, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина

довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

— Жалкие люди! — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.

— Преглупый народ! — отвечал он. — Поверите ли, ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

— А вы долго были в Чечне?

— Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, — знаете? [2]

— Слыхал.

— Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее, а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

— А, чай, много с вами было приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел, я вытащил из чемодана два походные стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «да, бывало!». Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет *здравствуйте* (потому что фельдфебель говорит *здравия желаю*). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

— Не хотите ли подбавить рому? — сказал я моему собеседнику: — у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

— Нет-с, благодарствуйте, не пью.

— Что так?

— Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и

вышли перед фрунт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно, другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропадший человек.

Услышав это, я почти потерял надежду.

— Да вот хоть черкесы,— продолжал он: — как напьются бузы[3] на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнóва князя был в гостях[4].

— Как же это случилось?

— Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать),— вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы верно,— спросил я его,— переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан»,— отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно, ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и пожалуйста — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и должно быть богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещиц!..

— А долго он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи.

— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирнóй князь. Сынишко его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить. Всякий день, бывало, то за тем, то за другим; и уж точно, избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный

на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А, бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы,— говорил я ему: — яман будет твоя башка!» [5].

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках»,— сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» — отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я однако ж не позабыл подметить, где поставили наших лошадей,— знаете, для непредвидимого случая.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана, потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честну́ю компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей; я хорошо знаю по-ихнему, и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?»

— Прелесть! — отвечал он: — а как ее зовут? — «Ее зовут Бэлою»,— отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича. [6] Он, знаете, был не то, чтоб мирно́й, не то, чтоб не мирно́й. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай — хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками [7], и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес. Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде,— и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы: а какая сила! скачи хоть пятьдесят верст; а уж выезжена — как собака бегает за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга,— подумал я: — уж он верно что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: *якши тхе, чек якши!* [8]

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? — подумал я:— уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

— Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат: — если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

«А, Казбич!» — подумал я и вспомнил кольчугу.

— Да,— отвечал Казбич после некоторого молчания: — в целой Кабарде не найдешь такой. Раз,— это было за Тереком,— я ездил с абреками

отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя аллаху, и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача [9] били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться,— и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыты оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня; он выскочил. Казаки всё это видели, только ни один не спустился меня искать: они верно думали, что я убился до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу,— смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз [10]; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! Это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названья.

— Если б у меня был табун в тысячу кобыл,— сказал Азамат,— то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза.

— *Йок,*[11] не хочу,— отвечал равнодушно Казбич.

— Послушай, Казбич,— говорил, ласкаясь к нему, Азамат: ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю всё, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь,— а шашка его настоящая гурда [12]: приложи лезвеем к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга такая, как твоя, нипочем.

Казбич молчал.

— В первый раз, как я увидел твоего коня,— продолжал Азамат,— когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор всё мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с

презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! — сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал; а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

— Послушай! — сказал твердым голосом Азамат: — видишь, я на всё решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом, чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь? дождись меня завтра ночью там, в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужели не стóит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа, он затянул старинную песню вполголоса *:

Много красавиц в аулах у нас [13],
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их — завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? на первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

— Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздал лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся

* Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется прозой; но привычка — вторая натура. *(примеч. Лермонтова)*.

среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой. «Плохое дело в чужом пиру похмелье,— сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку: — не лучше ли нам поскорей убраться?»

— Да погодите, чем кончится.

— Да уж верно кончится худо; у этих азиатов всё так: натянулись бузы [14], и пошла резня! — Мы сели верхом и ускакали домой.

— А что Казбич? — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

— Да что этому народу делается! — отвечал он, допивая стакан чая: — ведь ускользнул.

— И не ранен? — спросил я.

— А бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а всё махает шашкой.— Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:

— Никогда себе не прощу одного: чёрт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу всё, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся,— такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите пожалуйста.

— Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать. Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то резвая, красивая, словно серна,— ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя, стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи: «Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что́ бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..»

— Всё, что он захочет,— отвечал Азамат.

— В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты.

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

— Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул. «А мой отец?» — сказал он.

— Разве он никогда не уезжает?

— Правда...

— Согласен?..

— Согласен,— прошептал Азамат, бледный как смерть.— Когда же?

— В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное — мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело — по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что по-ихнему он всё-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день. «Азамат! — сказал Григорий Александрович: — завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...»

— Хорошо! — сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости; как они сладили это дело, не знаю,— только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? — спросил я у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а всё-таки был моим кунаком *.

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице — и к окну; но окно, к несчастию, выходило на задворье. «Что с тобой?» — спросил я.

— Моя лошадь!.. лошадь! — сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это верно какой-нибудь казак приехал...»

— Нет! Урус яман [15], яман! — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль — Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он

* Кунак значит приятель. *(Примеч. Лермонтова.)*

никого не замечал; постояли, потолковали, и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

— Что ж отец?

— Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал; верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог,— только он притворялся, будто не слышит.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже.— Разве вы не видите, что я к вам пришел?

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? —отвечал он, не приподнимаясь.

— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

— Всё равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

— Я всё знаю,— отвечал я, подошед к кровати.

— Тем лучше: я не в духе рассказывать.

— Г⟨осподин⟩ прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

— И полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно всё пополам.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!..

— Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо».

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся,— сказал я ему.

— Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это? Я стал втупик. Однако ж, после некоторого молчания, я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

— Вовсе не надо.

— Да он узнает, что она здесь?

— А как он узнает?

Я опять стал втупик. «Послушайте, Максим Максимыч! — сказал Печорин, приподнявшись: — ведь вы добрый человек,— а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...»

— Да покажите мне ее,— сказал я.

— Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня,— прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился. Что прикажете делать? есть люди, с которыми непременно до́лжно соглашаться.

— А что? — спросил я у Максима Максимыча: — в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине?

— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула,— а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и всё грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шел я мимо и заглянул в окно: Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею. «Послушай, моя пери,— говорил он: — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею — отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой».— Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. «Или,— продолжал он: — я тебе совершенно ненавистен?» — Она вздохнула.— «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» — Она побледнела и молчала.— «Поверь мне, аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью?» — Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслию; в глазах ее выразились недоверчи-

вость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля.

«Послушай, милая, добрая Бэла! — продолжал Печорин,— ты видишь как я тебя люблю; я всё готов отдать, чтобы тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?» — Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала. «Я твоя пленница,— говорила она: — твоя раба; конечно ты можешь меня принудить»,— и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед. «Что, батюшка? — сказал я ему.— Дьявол, а не женщина! — отвечал он:—только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...» Я покачал головою. «Хотите пари? — сказал он: — через неделю!» — «Извольте!» Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками, привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

— Как вы думаете, Максим Максимыч! — сказал он мне, показывая подарки:— устоит ли азиатская красавица против такой батареи? —«Вы черкешенок не знаете,— отвечал я: — это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки — совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны».— Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину: она стала ласковее, доверчивее — да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся почеркесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! — сказал он: — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся, прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу,— ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду — куда? почему я знаю! Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки: тогда вспомни обо мне и прости меня».— Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась

ему на шею.— Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтоб заплакал, а так — глупость!..

Штабс-капитан замолчал.

— Да, признаюсь,— сказал он потом, теребя усы: — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

— И продолжительно было их счастье? — спросил я.

— Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне, и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!

— Как это скучно! — воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!..— Да неужели,— продолжал я,— отец не догадался, что она у вас в крепости?

— То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней, узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...

Внимание мое пробудилось снова.

— Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь, по крайней мере я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги, версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали,— это было в сумерки,— он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья — и был таков; некоторые уздени всё это видели с пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

— Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил,— сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника.

— Конечно, по-ихнему,— сказал штабс-капитан,— он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах как клочки разодранного занавеса; мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы,

клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Тихо было всё на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем.— Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-Гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она всё поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-Горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром — чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: всё приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным и долго-долго всматриваться в их причудливые образы и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-Гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею; но на востоке всё было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

— Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? — сказал я ему.

— Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.

— Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

— Разумеется, если хотите, оно и приятно; только всё же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите,— прибавил он, указывая на восток: — что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы похожие одна на дру-

гую,— и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам,— воскликнул он,— что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» — закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой — осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных [16],— а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые»,— и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж всё-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стóит того, чтоб об ней так много заботиться.

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? — Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите, или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую Гору (или, как называет ее ученый Гамба [17], le Mont St.-Christophe) достоин вашего любопытства. Итак, мы спускались с Гуд-Горы в Чертову долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами,— не тут-то было: название Чертовой долины происходит от слов «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие *милые* места нашего отечества.

— Вот и Крестовая! — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом: наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги, и уцепясь за колеса, с криком при-

нялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частию была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; — налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням.— В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору,— две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер врывался в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-Разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока... Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр 1-й, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь чему верить, тем более, что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница,— думал я,— плачешь о своих широких раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

— Плохо! — говорил штабс-капитан: — посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег — того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась [18], что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки — никак нельзя положиться.— Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов. «Ваше благородие,— сказал наконец один: — ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется,— верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду; они говорят, что проведут, если дадите на водку»,— прибавил он, указывая на осетина.

— Знаю, братец, знаю без тебя! — сказал штабс-капитан;— уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку.

— Признайтесь, однако,— сказал я,— что без них нам было бы хуже.

— Всё так, всё так,— пробормотал он: — уж эти мне проводники! чутьем слышат, где можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги.

Вот мы свернули налево, и кое-как, после многих хлопот, добрались до

скудного приюта, состоявшего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурею. «Всё к лучшему! — сказал я, присев у огня: — теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось».

— А почему ж вы так уверены? — отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою.

— Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

— Ведь вы угадали...

— Очень рад.

— Хорошо вам радоваться, а мне так право грустно, как вспомню. Славная была девочка эта Бэла! Я к ней наконец так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства; об отце и матери я лет двенадцать уж не имею известия, а запастись женой не догадался раньше,— так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз был-с и в Москве в благородном собрании, лет двадцать тому назад,— только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал ее как куколку, холил и лелеял, и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, веселая, и всё надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!..

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре всё шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж кажется говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами,— а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять,— целое утро пропадал; раз и другой, всё чаще и чаще... Нехорошо, подумал я: верно между ними черная кошка проскочила!

Одно утро захожу к ним — как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

— А где Печорин? — спросил я.

— На охоте.

— Сегодня ушел? — Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

— Нет, еще вчера,— наконец сказала она, тяжело вздохнув.

— Уж не случилось ли с ним чего?

— Я вчера целый день думала, думала,— отвечала она сквозь слезы,— придумывала разные несчастия: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! — Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слёзы и продолжала:

— Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его,— я княжеская дочь!..

Я стал ее уговаривать: «Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке: он человек молодой, любит погоняться за дичью,— походит да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь».

— Правда, правда! — отвечала она: — я буду весела.— И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно, она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался; думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Наконец я ей сказал: «хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!». Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками *, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны;— с другой бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть всё. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади: всё ближе и ближе, и наконец остановился по ту сторону речки, саженях во сте от нас, и начал кружить лошадь свою, как бешеный. Что за притча!.. «Посмотри-ка, Бэла,— сказал я: — у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..».

Она взглянула и вскрикнула: «Это Казбич!»...

— Ах он разбойник! смеяться что ли приехал над нами? — Всматриваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный как всегда.— «Это лошадь отца моего»,— сказала Бэла, схватив меня за руку; она дро-

* Овраги. *(Примеч. Лермонтова.)*

жала, как лист, и глаза ее сверкали: — «Ага! — подумал я: — и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь».

— Подойди-ка сюда,— сказал я часовому: — осмотри ружье, да ссади мне этого молодца,— получишь рубль серебром.— «Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте...» — «Прикажи!» — сказал я смеясь... «Эй, любезный! — закричал часовой, махая ему рукой: — подожди маленько, что ты крутишься как волчок?» Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно думал, что с ним заводят переговоры,— как не так!.. Мой гренадер приложился... бац!.. мимо,— только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, погрозил нагайкой — и был таков.

— Как тебе не стыдно! — сказал я часовому.

— Ваше высокоблагородие! умирать отправился,— отвечал он: — такой проклятый народ, сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился. «Помилуйте,— говорил я: — ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли: ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частию помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Бэлу. Я знаю, что, год тому назад, она ему больно нравилась,— он мне сам говорил,— и если б надеялся собрать порядочный калым, то верно бы посватался...» Тут Печорин задумался: «Да,— отвечал он,— надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь ее: «О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» — «Нет!» — «Тебе чего-нибудь хочется?» — «Нет!» — «Ты тоскуешь по родным?» — «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч,— отвечал он,— у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских кра-

савиц, и был любим,— но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров,— и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой; если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я так же очень достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне всё мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день от дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь,— только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию,— авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощию бурь и дурных дорог».— Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста,— продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне,— вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок.— Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А всё, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— Ага, вот что!..— отвечал он,— да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее: чтоб воздерживаться от вина, он

конечно старался уверять себя, что все в мире несчастия происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

— Казбич не являлся снова. Только, не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу,— нет зверя. «Эй, не воротиться ли? — говорил я: — к чему упрямиться? Уж видно такой задался несчастный день». Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи; таков уж был человек: что задумает, подавай; видно в детстве был маменькой избалован. Наконец в полдень отыскали проклятого кабана,— паф! паф!.. не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день!.. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости; только кустарник закрывал ее от нас.— Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел,— смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла — и туда; я за ним.

К счастию, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были всё ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поровнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!..» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагёза...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! — кричу я ему: — берегите заряд; мы и так его догоним».— Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она сгоряча сделала еще прыжков десять споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бедная Бэла! — Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил в свою очередь, наудачу; верно пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь, и возле нее Бэла; а Казбич, бро-

сив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил — ну, так уже и быть, одним разом всё бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! — Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы — ничто не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не довезем живую».— «Правда!»,— сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух.— Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел; осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

— Выздоровела? — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет,— отвечал он: — а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

— А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался,— цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

— Да зачем Казбич ее хотел увезти?

— Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть: другое и не нужно, а всё украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели, только что она открыла глаза, начала звать Печорина.— «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)»,— отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру!» — сказала она.— Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; — она покачала головкой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во всё время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная, и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете, о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертию: я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить; наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась.— Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день! Бледные щёки впали, глаза сделались большие, большие,— губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих.— Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова.— Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла! Ну, что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно.

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте! — говорил я ему: — ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» — «Всё-таки лучше, Максим Максимыч,— отвечал он,— чтоб совесть была покойна».— Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна — но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Печорину.— «Воды, воды!..» — говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в гошпиталях и на поле сражения, только это всё не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что

печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а, кажется, я ее любил как отец... ну, да бог ее простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки за спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя.— Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия, хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частию для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы [19], я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.

На другой день рано утром мы ее похоронили, за крепостью, у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: всё-таки она была не христианка...

— А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? — Месяца три спустя его назначили в е....й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались; да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было... Впрочем до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже — вероятно для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел разговор о Бэле и о Печорине.

— А не слыхали ли вы, чтó сделалось с Казбичем? — спросил я.

— С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!..

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и если хотите, я расскажу: это целая история... Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II

МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке[1], чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толку нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград.

Первый день я провел очень скучно; на другой рано утром въезжает на двор повозка... А! Максим Максимыч!.. Мы встретились, как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись: я у окна, он у

затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. Об чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне об себе всё, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали из-за дерев, а дальше синелись зубчатою стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко...

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина,—нечто вроде русского Фигаро [2]. — «Скажи, любезный, — закричал я ему в окно, — что это — оказия пришла, что ли?» Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно. — «Слава богу! — сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. — Экая чудная коляска! — прибавил он: — верно какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть англинскую! — «А кто бы это такое был — подойдемте-ка узнать...» Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.

— Послушай, братец, — спросил у него штабс-капитан: — чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!..— Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: «Я тебе говорю, любезный...».

— Чья коляска?.. моего господина...

— А кто твой господин?

— Печорин...

— Что ты? что ты? Печорин?.. Ах, боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?..— воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

— Служил, кажется — да я у них недавно.

— Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели, — прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...

— Позвольте, сударь; вы мне мешаете, — сказал тот, нахмурившись.

— Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе... Да где же он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...

— Да не зайдет ли он вечером сюда? — сказал Максим Максимыч: — или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.

— Ведь сейчас прибежит!..— сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом: — пойду за ворота его дожидаться... Эх! жалко, что я не знаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина; хотя, по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник.— «Максим Максимыч, не хотите ли чаю?» — закричал я ему в окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

— Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.

— Ничего; благодарствуйте...

— Ну, как угодно! — Я стал пить чай один; минут через десять входит мой старик: — «А ведь вы правы: всё лучше выпить чайку,— да я всё ждал... Уж человек его давно к нему пошел, да видно что-нибудь задержало».

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе, и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение,—он ничего не отвечал.

Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б, уже очень поздно, Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался...

— Не клопы ли вас кусают? — спросил я.

— Да, клопы... — отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот сидящего на скамейке. — «Мне надо

сходить к коменданту, — сказал он, — так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной...»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами расстилалась широкая площадь; за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье: босые мальчики осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать; подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать вам его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сертучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно-чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками,— верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала [3]. С первого взгляда на лицо его, я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и вероятно обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные,— признак

Страница повести «Максим Максимыч». Автограф М. Ю. Лермонтова. 1839.

Гос. Публ. библ. им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади; чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; об глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! — Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса, и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы об нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что всё готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастию, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему. «Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем...»

— Ах, точно! — быстро отвечал он: — мне вчера говорили; но где же он? — Я обернулся к площади и увидал Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать, пот градом катился с лица его, мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колена его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А... ты?.. а вы?.. — пробормотал со слезами на глазах старик... — сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше...

— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

— Мне пора, Максим Максимыч,— был ответ.

— Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?.. что поделывали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь.

— А помните наше житье-бытье в крепости?.. Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. «Мы славно пообедаем,— говорил он: — у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?..»

— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли...— прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забыть! — проворчал он; — я-то не забыл ничего... Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...»

— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески: — неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться — бог знает!..— Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать возжи.

— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски: — совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрыч... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..

— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?.. — кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, а бедный старик стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

— Да,— сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах; — конечно, мы были приятели, — ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!..— Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. — Скажите, — продолжал он, обратясь ко мне, —

ну что вы об этом думаете?.. ну какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу смешно!.. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться... А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нету проку в том, кто старых друзей забывает!..— Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максим Максимыч,— сказал я, подошедши к нему,— а что это за бумаги вам оставил Печорин?

— А бог его знает! какие-то записки...

— Что вы из них сделаете?

— Что? а велю наделать патронов.

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю, потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское, мне стало смешно и жалко...

— Вот они все, — сказал он: — поздравляю вас с находкою...

— И я могу делать с ними всё, что хочу?

— Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело!.. Что, я разве друг его какой, или родственник?.. Правда, мы жили долго под одной кровлей... Да мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия; я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду; у него был какой-то принужденный, холодный вид.

— А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

— Нет-с.

– А что так?

— Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать кой-какие казенные вещи...

— Да ведь вы же были у него?

— Был, конечно, — сказал он, заминаясь... — да его дома не было... а я не дождался.

Я понял его: бедный старик, в первый раз отроду может быть, бросил дела службы для *собственной надобности*, говоря языком бумажным,— и как же он был награжден!

— Очень жаль, — сказал я ему, — очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

— Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая, еще пока здесь под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

— Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастия и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности, или от другой причины, протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда перед ним отдергивается розовый флёр, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.



ЖУРНАЛ ПЕЧОРИНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга — понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге, следовательно не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета, чтобы разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узнают, и может быть они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги.— «Да это злая ирония!» — скажут они.— Не знаю.

I

ТАМАНЬ

Тамань — самый скверный городишка из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голоду, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «кто идет?». Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем — занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к чёрту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера,— отвечал десятник, почесывая затылок: — только вашему благородию не понравится; там нечисто!» — Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышевую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть,— подумал я:— завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?».— «Нема».— «Как? совсем нету?» — «Совсим».— «А хозяйка?» — «Побигла в слободку».— «Кто ж мне отопрет дверь?» — сказал

я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мной неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение противу всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто, с потерею члена, душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...

«Ты хозяйский сын?» — спросил я его наконец. «Ни».— «Кто же ты?» — «Сирота, убогий».— «А у хозяйки есть дети?» — «Ни; была дочь, да утикла за море с татарином».— «С каким татарином?» — «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа — дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мною во мраке всё вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. *В тот день немые возопиют и слепые прозрят* [1] — подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из вида.

Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился,

потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что, казалось, сейчас волна его схватит и унесет, но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут, с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

«Что, слепой? — сказал женский голос: — буря сильна; Янко не будет».— «Янко не боится бури»,— отвечал тот.— «Туман густеет»,— возразил опять женский голос, с выражением печали. — «В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов», — был ответ. «А если он утонет?» — «Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты».

Последовало молчание; меня однако поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

— Видишь, я прав, — сказал опять слепой, ударив в ладоши: — Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей: прислушайся-ка: это не вода плещет, меня не обманешь, это его длинные весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.

— Ты бредишь, слепой,— сказала она: — я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять, и вот показалась между горами волн черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно подымаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние двадцати верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я, с невольным биением сердца, глядел на бедную лодку, но она, как утка, ныряла, и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги, но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из виду. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидал меня совсем одетого; я ему однако ж не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в кре-

пость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все — или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дни через три, четыре, придет почтовое судно,— сказал комендант: — и тогда — мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

— Плохо, ваше благородие! — сказал он мне.

— Да, брат, бог знает, когда мы отсюда уедем.— Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:

— Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника; он мне знаком, был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой... уж видно здесь к этому привыкли.

— Да что ж? по крайней мере, показалась ли хозяйка?

— Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.

— Какая дочь? у ней нет дочери.

— А бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я вошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок,— сказал я, взяв его за ухо: — говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепец заплакал, закричал, заохал: «куды я ходив?.. никуды не ходив... с узлом? яким узком?». Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «вот выдумывают, да еще на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая в даль; передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть и более... Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок,—но откуда?.. Прислушиваюсь — напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье, с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза

ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке —
По зелену морю,
Ходят всё кораблики
        Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка.
Лодка неснащеная,
        Двухвесельная.
Буря ль разыграется —
Старые кораблики
Приподымут крылушки,
        По морю размечутся.
Стану морю кланяться
Я низёхонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
        Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные,
Правит ею в темну ночь
        Буйная головушка».

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина; поровнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пенье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою проницательностию останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции [2]. Она, т. е. порода,

а не Юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах, и, особенно, правильный нос,— всё это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гётеву Миньону [3], это причудливое создание его немецкого воображения; — и точно, между ними было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни...

По́д-вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор:

«Скажи-ка мне, красавица, — спросил я: — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье».— «Что же, разве ты песнею зазывала счастье?» — «Где поется, там и счастливится».— «А как неравно напоешь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять не далеко».— Кто ж тебя выучил эту песню?» — «Никто не выучил; вздумается — запою: кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слушать, тот не поймет». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает».— «А кто крестил?» — «Почему я знаю».— «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал» (она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей всё, что видел, думая смутить ее, — нимало! она захохотала во всё горло. «Много видели, да мало знаете; а что знаете, так держите под замочком».— «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» — и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только, что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрыпнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся,— то была она, моя ундина [4]; она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и, не знаю почему, но этот взор показался мне чудно нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой



Тамань. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1837.

Карандаш. ИРЛИ АН СССР

бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет; грудь ее то высоко подымалась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чаю, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «нынче ночью, как все уснут, выходи на берег»,— и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бес-девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда всё на пристани умолкло, я разбудил своего казака: «Если я выстрелю из пистолета,— сказал я ему:— то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

— Идите за мной, — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку»,— сказала моя спутница; я колебался, я не охотник до сентиментальных прогулок по морю, но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит, — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками: — это значит, что я тебя люблю»... И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хвать за пояс — пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову. Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.

— Ты видел, — отвечала она: — ты донесешь, — и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки; ее

волосы касались воды, минута была решительная. Я уперся коленкою в дно; схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно бросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал.

На дне лодки я нашел половину старого весла, и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса всё, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, — сказала она: — всё пропало!» Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. — «А где же слепой?» — сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала», — был ответ. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

— Послушай, слепой! — сказал Янко: — ты береги то место... знаешь? там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит. — После некоторого молчания Янко продолжал: — Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться, а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.

— А я? — сказал слепой жалобным голосом.

— На что мне тебя? — был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников».— «Только?» — сказал слепой.— «Ну, вот тебе еще»,— и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой всё сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов?* Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал,— подарок приятеля, — всё исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восьмнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?

Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что сталось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

Конец первой части

Часть вторая



(ОКОНЧАНИЕ ЖУРНАЛА ПЕЧОРИНА)

II

КНЯЖНА МЕРИ

11-го мая

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури» [1], на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок; шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа,— а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом.— Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё — чего бы, кажется, больше? — зачем тут страсти, желания, сожаления? — Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается всё водяное общество.

Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору; то были большею частию семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сертукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся *водяная* молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сертука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись [2].

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее;

у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют — однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом... Они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы; штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брызжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец вот и колодец! На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними было два гувернера и с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:

— Печорин! давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня.

Грушницкий — юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение: они нравятся романтиче-

ским провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами,— иногда тем и другим. В них душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер; эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель— сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. — Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать.

Приезд его на Кавказ — также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «нет, вы (или ты) этого не должны знать!.. Ваша чистая душа содрогнется!.. Да и к чему?.. Что я для вас!— Поймете ли вы меня?..» — и так далее.

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К... полк, останется вечною тайной между им и небесами.

Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.

— Мы ведем жизнь довольно прозаическую, — сказал он вздохнув. — Пьющие утром воду вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру несносны, как все здоровые. Женские общества есть, только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.

В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая,

другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! — На второй было закрытое платье *gris de perles* *, легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки *couleur puce* ** стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

— Вот княгиня Лиговская, — сказал Грушницкий: — и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на англинский манер. Они здесь только три дня.

— Однако ты уж знаешь ее имя?

— Да, я случайно слышал, — отвечал он, покраснев. — Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться; эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?

— Бедная шинель! — сказал я усмехаясь. — А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стаканы?

— О! это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость — точно у Робинзона Крузое[3]! Да и борода кстати, и прическа *à la moujik* ***.

— Ты озлоблен против всего рода человеческого.

— И есть за что...

— О! право?

В это время дамы отошли от колодца и поровнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:

— Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante ****.

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил.

— Эта княжна Мери прехорошенькая, — сказал я ему. — У нее такие бархатные глаза, — именно бархатные, я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах: нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска,

---

* Серо-жемчужное. (Франц.) — *Ред.*

** Красновато-бурого цвета (цвет блохи). (Франц.) — *Ред.*

*** По-мужицки. (Франц.) — *Ред.*

**** Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом. (Франц.) — *Ред.*

они так мягки, они будто бы тебя гладят. — Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... А что, у нее зубы белы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь об хорошенькой женщине, как об английской лошади,— сказал Грушницкий с негодованием.

— Mon cher,— отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон: — je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrementla la vie serait un mélodrame trop ridicule *.

Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам с висящими между них кустарниками. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно, допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.

Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бедняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и всё напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.

Княжна Мери видела всё это лучше меня.

Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, — даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска; за нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.

Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие.

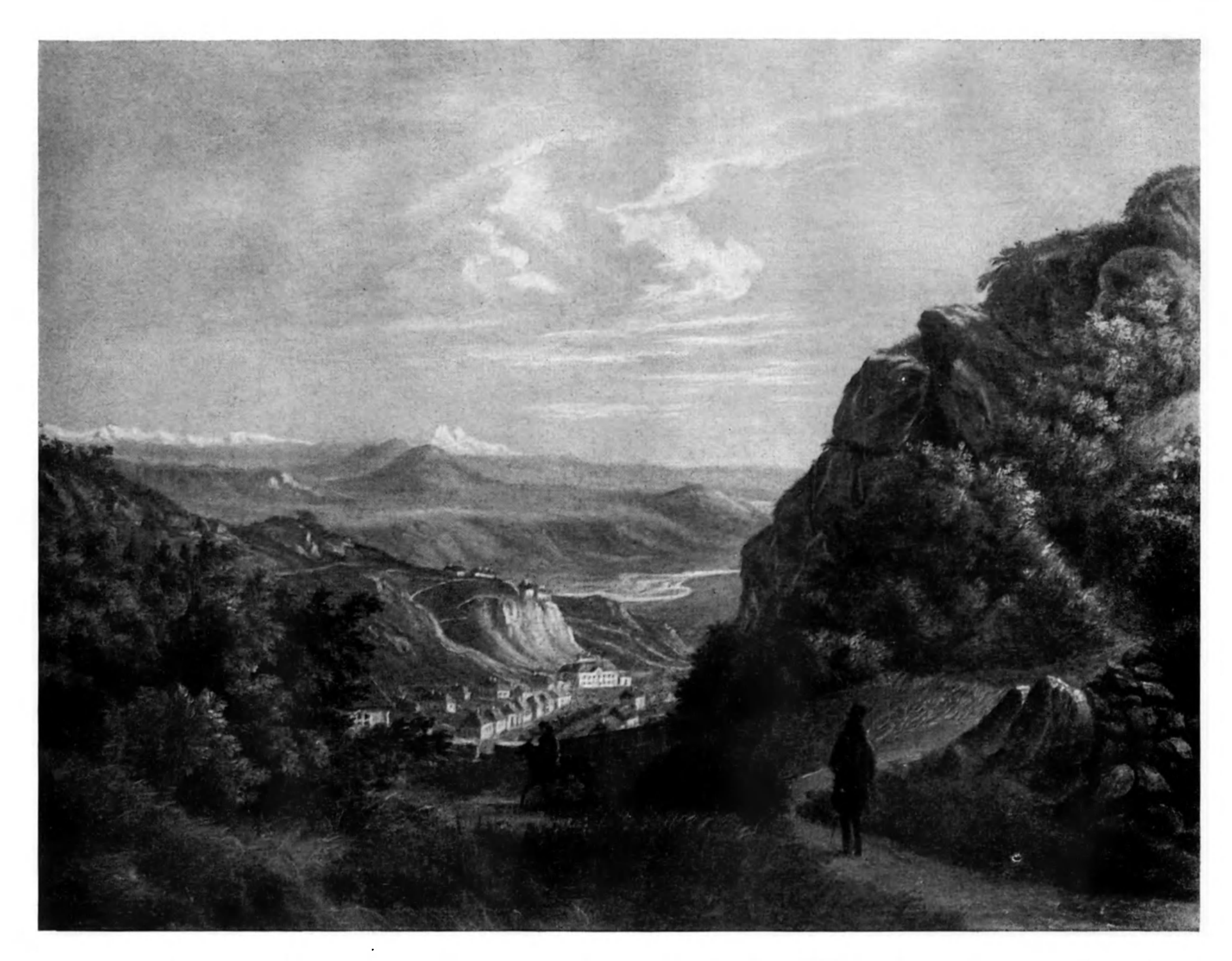
— Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку: — это просто ангел!

— Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.

— Разве ты не видал?

---

* Милый мой, я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком смехотворной мелодрамой. (Франц) — *Ред.*



Пятигорск. Картина маслом М. Ю. Лермонтова. 1837.

Литературный музей, Москва

— Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу...

— И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..

— Нет.

Я лгал. Но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противуречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противуречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским, холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу: это чувство было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно.

Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну!

13-го мая

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим и поэт, и не на шутку,— поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть

только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных,— больные взбеленились! — почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно-порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов. Надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди подобные Вернеру, так страстно любят женщин.

Вернер был мал ростом и худ и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противуположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сертук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; — рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги. Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.

— Что до меня касается, то я убежден только в одном,— сказал доктор.

— В чем это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

— В том,— отвечал он,— что рано или поздно, в одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче вас,— сказал я: — у меня, кроме этого, есть еще убеждение,— именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастье родиться.

Все нашли, что мы говорим вздор, а право из них никто ничего умнее

этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона [4], мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.

Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи,— и мы оба замолчали.

— Заметьте, любезный доктор,— сказал я,— что без дураков было бы на свете очень скучно!.. Посмотрите: вот нас двое умных людей; мы знаем заране, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга, одно слово для нас целая история, видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом всё, что хотим знать, и знать больше не хотим; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость!

Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул.

Он отвечал подумавши:

— В вашей галиматье однако ж есть идея.

— Две,— отвечал я.

— Скажите мне одну, я сам скажу другую.

— Хорошо, начинайте,— сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.

— Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж отгадываю, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

— Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг друга.

— Теперь другая...

— Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь, во-первых, потому, что слушать менее утомительно, во-вторых, нельзя проговориться, в-третьих, можно узнать чужую тайну, в-четвертых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?

— Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна?..

— Совершенно убежден.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала об Грушницком.

— У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена,

что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль...

— Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении...

— Разумеется.

— Завязка есть! — закричал я в восхищении: — об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно.

— Я предчувствую,— сказал доктор,— что бедный Грушницкий будет вашей жертвой...

— Дальше, доктор...

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо... Я ей заметил, что верно она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете... я сказал ваше имя... Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума! Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе... Я не противуречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

— Достойный друг! — сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал:

— Если хотите, я вас представлю...

— Помилуйте! — сказал я, всплеснув руками: — разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную...

— И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..

— Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор,— продолжал я после минуты молчания: —я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтобы их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж, вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?

— Во-первых, княгиня — женщина сорока пяти лет,— отвечал Вернер: — у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена: на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве, и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего: я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать: она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру; в Москве, видно, барышни пустились в ученость, и хорошо делают,— право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними

кокетничать должно быть для умной женщины несносно.— Княгиня очень любит молодых людей; княжна смотрит на них с некоторым презрением,— московская привычка!— Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.

— А вы были в Москве, доктор?

— Да, я имел там некоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, всё сказал... Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и проч... она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.

— Вы никого у них не видали сегодня?

— Напротив: был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу, очень хорошенькая, по очень, кажется, больная... Не встретили ль вы ее у колодца? — она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо меня поразило своей выразительностью.

— Родинка! — пробормотал я сквозь зубы. — Неужели?

Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце: «Она вам знакома». Мое сердце, точно, билось сильнее обыкновенного.

— Теперь ваша очередь торжествовать! — сказал я: — только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину.— Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, относитесь обо мне дурно.

— Пожалуй,— сказал Вернер, пожав плечами.

Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мной; всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее всё те же звуки; я глупо создан: ничего не забываю,— ничего.

После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжною сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых Д... офицеров и начал им что-то рассказывать; — видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки

над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. — Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...

— Что он вам рассказывал? — спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости: — верно очень занимательную историю — свои подвиги в сражениях?..— Она сказала это довольно громко и вероятно с намерением кольнуть меня. «А-га! — подумал я: — вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»

Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказывали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других,— и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя,— теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют — и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок.

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал 40 рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.

Грушницкий принял воинственный вид: ходит закинув руки за спину и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне; она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.

— Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? — сказал он мне вчера.

— Решительно.

— Помилуй, самый приятный дом на водах! Всё здешнее лучшее общество!..

— Мой друг, мне и нездешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?

— Нет еще; я говорил раза два с княжной и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если б я носил эполеты...

— Помилуй, да этак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением: да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем, страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

— Какой вздор! — сказал он.

— Я уверен, — продолжал я, — что княжна в тебя уж влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар.

— У тебя всё шутки! — сказал он, показывая, будто сердится: — во-первых, она меня еще так мало знает...

— Женщины любят только тех, которых не знают.

— Да я вовсе не имею претензии ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, например, другое дело! — вы, победители петербургские: только посмотрите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?..

— Как? она тебе уж говорила обо мне?..

— Не радуйся однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно, и третье слово ее было: «кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. — Вам не нужно сказывать дня, — отвечал я ей, — он вечно будет мне памятен. Мой друг, Печорин, я тебя не поздравляю, ты у нее на дурном замечании... А право, жаль! потому что Мери очень мила!

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря об женщине, с которой они едва знакомы, называют ее *моя Мери, моя Sophie*, если она имела счастие им понравиться.

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор — никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить

ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой, и, чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить — а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может! Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобой накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастию, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным! — Я стал его рассматривать, и что же? мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний! я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, и тут-то я буду наслаждаться.

. . . .

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу — никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом него вились и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот; мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? — и она ли? И почему я думаю, что это она?.. и почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках! Размышляя таким образом, я подошел к гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушать ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

— Я знала, что вы здесь, — сказала она.

Я сел возле нее и взял ее за руку: давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами; в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

— Мы давно не видались,— сказал я.

— Давно — и переменились оба во многом!

— Стало быть, уж ты меня не любишь?..

— Я замужем,— сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала; но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

Молчание.

— Что ж? Он молод, хорош, особенно верно богат, и ты боишься...— Я взглянул на нее и испугался; ее лицо выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.

— Скажи мне, наконец,— прошептала она,— тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий...— Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть,— подумал я:— ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда!..»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем,— тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре; она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца! и будет обманывать, как мужа!.. Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!

Муж Веры, Семен Васильевич Г.....в, дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтоб отвлечь от нее внимание. Таким образом мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело!

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь: теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже, мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой

женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? — оттого ли, что я никогда ничем очень не дорожу, и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщин с характером: их ли это дело!..

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волею, которую никогда не мог победить... Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе...

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается; я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют fièvre lente * — болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова с прежней беспечностью и я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. — Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, навеки: оба пойдем разными путями до гроба; но воспоминание об ней останется неприкосновенным в душе моей; я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.

Наконец мы расстались; я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок, — на память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит...

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся всё яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, всё в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба, или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих *вышках,* видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо верно по одежде

---

* Медленная горячка. (Франц.) — *Ред.*

приняли меня за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего, оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию[5], куда часто водяное общество ездит *en piquenique* *. Дорога идет извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; крутом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии *балками,* я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь *черкесского с нижегородским*[6]*;* впереди ехал Грушницкий с княжною Мери.

Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня; вероятно поэтому Грушницкий сверх солдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть всё и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец, они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора:

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.

— Что для меня Россия? — отвечал ее кавалер: — страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь, — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...

— Напротив... — сказала княжна покраснев.

Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:

— Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы бог мне каждый год посылал один светлый, женский взгляд, один подобный тому...

В это время они поровнялись со мной; я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста...

---

* Пикником. (Франц.) — *Ред.*

— Mon dieu, un circassien!.. * вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame,— je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier **.

Она смутилась, — но отчего? от своей ошибки, или оттого, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтоб последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд.

Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрыпом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался... Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре... но с кем?.. Что делает теперь Вера? думал я... Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Верно Грушницкий... Так и есть!

— Откуда?

— От княгини Лиговской,— сказал он очень важно.— Как Мери поет!..

— Знаешь ли что? — сказал я ему: — я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...

— Может быть! Какое мне дело!..— сказал он рассеянно.

— Нет, я только так это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость,— я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты верно о себе самого высокого мнения.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мне жаль, что я не имею еще этого права...

«О-го! — подумал я: — у него, видно, есть уже надежды...»

— Впрочем для тебя же хуже,— продолжал Грушницкий:— теперь тебе трудно познакомиться с ними,— а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

---

* Боже мой, черкес!.. (Франц.) — *Ред.*

** Не бойтесь, сударыня,— я не более опасен, чем ваш кавалер. (Франц.) — *Ред.*

— Самый приятный дом для меня теперь мой,— сказал я зевая, и встал, чтоб идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?..

— Какой вздор! если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини...

— Посмотрим...

— Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочет говорить с тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

— А я пойду шататься,— я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра... мне нужны нынче сильные ощущения...

— Желаю тебе проиграться...

Я пошел домой.

21-го мая

Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры бесконечны — когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он *не жених*. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежных взгляда,— надо этому положить конец.

Вчера у колодца в первый раз явилась Вера... Она с тех пор, как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказал шепотом:

— Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими!.. Мы только там можем видеться...

Упрек!.. скучно! Но я его заслужил...

Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.

22-го мая

Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания. В девять часов все съехались. Княгиня с дочерью явились из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце... Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи счастливую эпоху мушек из черной тафты; самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет... C'est impayable!..*. И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить...

— За этим дело не станет! — отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.

Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось однако довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид: она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей... Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо.) Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое: «mersi, monsieur».

После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:

— Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе незнаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзким... неужели это правда?

— И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? — отвечала она с иронической гримаской, которая впрочем очень идет к ее подвижной физиономии.

— Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще бо́льшую дерзость, просить у вас прощения... И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались...

— Вам это будет довольно трудно...

— Отчего же?

— Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы вероятно не часто будут повторяться.

Это значит,— подумал я,— что их двери для меня навеки закрыты.

— Знаете, княжна,— сказал я с некоторой досадой,— никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее... и тогда...

---

* Это несносно!.. (Франц.) — *Ред.*

Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:

— Пермете... ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку...

— Что вам угодно? — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адъютант, кажется, всё это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану в историю.

— Что же? — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который одобрял его знаками,— разве вам не угодно?.. Я таки опять имею честь вас ангажировать pour mazure... * Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...

Я видел, что она готова упасть в обморок от страху и негодования.

Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться,— потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

— Ну, нечего делать!.. в другой раз! — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату.

Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.

Княжна подошла к своей матери и рассказала ей всё; та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек.

— Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы,— прибавила она: — но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин... не правда ли?

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконец с хор загремела мазурка; мы с княжной уселись.

Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила

---

* На мазурку. (Франц.) — *Ред.*

очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроту, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки... Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

— Вы странный человек! — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

— Я не хотел с вами знакомиться,— продолжал я,— потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! Они все прескучные...

— Все? — Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и наконец произнесла решительно: *все!*

— Даже мой друг Грушницкий?

— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

— Да.

— Он конечно не входит в разряд скучных...

— Но в разряд несчастных,— сказал я смеясь.

— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...

— Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А разве он юнкер?..— сказала она быстро и потом прибавила: — а я думала...

— Что вы думали?..

— Ничего!.. Кто эта дама?

Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался.

Вот мазурка кончилась, и мы распростились — до свидания. Дамы разъехались... Я пошел ужинать и встретил Вернера.

— А-га! — сказал он: — так-то вы! А еще хотели не иначе познакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.

— Я сделал лучше,— отвечал я ему,— спас ее от обморока на бале!..

— Как это? Расскажите!..

— Нет, отгадайте,— о вы, отгадывающий всё на свете!

23-го мая

Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидав меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:

— Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?

— Нет; но во всяком случае не стоит благодарности,— отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.

— Как? а вчера? ты разве забыл?.. Мери мне всё рассказала...

— А что? разве у вас уж нынче всё общее? и благодарность?..

— Послушай,— сказал Грушницкий очень важно: — пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем... Видишь: я ее люблю до безумия... и я думаю, я надеюсь, она также меня любит... У меня есть до тебя просьба: ты будешь у них нынче вечером; обещай мне замечать всё: я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин... Женщины! женщины! кто их поймет? Их улыбки противуречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает... То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков... Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны...

— Это, может быть, следствие действия вод,—отвечал я.

— Ты во всем видишь худую сторону... матерьялист! — прибавил он презрительно.— Впрочем переменим материю,— и, довольный плохим каламбуром, он развеселился.

В девятом часу мы вместе пошли к княгине.

Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас взошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она находит, что томность к ней идет — и, может быть, не ошибается Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.

После чая все пошли в залу.

— Довольна ли ты моим послушанием, Вера? — сказал я, проходя мимо ее.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам; но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяны; все просили ее спеть что-нибудь,— я молчал, и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих... Вышло — вздор...

Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этот разговор, немой, но выразительный, краткий, но сильный!..

Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо... впрочем я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «charmant! délicieux!» *

— Послушай,— говорила мне Вера: — я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь всё, что захочешь. Мы здесь только будем видеться...

— Только?..

---

* Очаровательно! Прелестно! (Франц.) — *Ред.*

Она покраснела и продолжала:

— Ты знаешь, что я твоя раба, я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию... не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день... и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебе... Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки... а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.

Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и присела очень насмешливо.

— Мне это тем более лестно,— сказал она,— что вы меня вовсе не слушали... но вы, может быть, не любите музыки?..

— Напротив,— после обеда особенно.

— Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы... и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении...

— Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном: у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово; следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична.

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде...

Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, — вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.

В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворною досадой наконец удалился. Княжна торжествовала; Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вам недолго торжествовать!.. Как быть? у меня есть предчувствие... Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет она меня любить или нет...

Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине... За что она меня так любит, право не знаю! — Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..

Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал:

— Ну, что?

«Ты глуп»,— хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.

29-го мая

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор, я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами: это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения, и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой; но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада, или старалась показать; во второй рассердилась на меня; в третий — на Грушницкого.

— У вас очень мало самолюбия,— сказала она мне вчера.— Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?

Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием...

— И моим,— прибавила она.

Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова... Вечером она была задумчива, нынче по утру у колодца еще задумчивей; когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней; она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза.

Решительно, Грушницкий ей надоел.

Еще два дня не буду с ней говорить.

3-го июня

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? — Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностию предприятия... Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потреб-

ность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство — истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности — только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? — Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:

— Мой друг, со мною было то же самое! и ты видишь однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на пути: я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле всё, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права,— не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, и ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы: полнота и глубина чувств и мыслей

не допускает бешеных порывов; душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью,— лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета... Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следственно, всё, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

. . . .

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею: он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер взошел вслед за ним.

— Я вас не поздравляю,— сказал он Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь на водах, не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.

— Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не помешаете радоваться. Он не знает,— прибавил Грушницкий мне на ухо: — сколько надежд придали мне эти эполеты... О, эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные звездочки... Нет! я теперь совершенно счастлив.

— Ты идешь с нами гулять к провалу? — спросил я его.

— Я? ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?..

— Нет, пожалуйста, не говори... Я хочу ее удивить...

— Скажи мне однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать,— и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

— Как ты думаешь, любит ли она тебя?..

— Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

— Хорошо! И вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

— Эх, братец! на всё есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

— Она! — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись; — мне жаль тебя, Печорин!..

Он ушел.

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась; я начал шутя — и кончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

— Вы опасный человек! — сказала она мне: — я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок... Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня,— я думаю, это вам не будет очень трудно.

— Разве я похож на убийцу?..

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:

— Да! такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм,— другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их,— меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир,— меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца; они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуются даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаянье,— не то отчаянье, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаянье, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил,— тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней — и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы, рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали... ей было жаль меня! Сострадание —

чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во всё время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала... а это великий признак!

Мы пришли к провалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора; но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.

— Любили ли вы? — спросил я ее наконец.

Она посмотрела на меня пристально, покачала головой... и опять впала в задумчивость: явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; ее грудь волновалась... Как быть! кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку; все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? — сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.

Мы расстались...

Она недовольна собой: она себя обвиняет в холодности! — о, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я всё это знаю наизусть — вот что скучно!

4-го июня

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

— Я отгадываю, к чему всё это клонится,— говорила мне Вера: — лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь.

— Но если я ее не люблю?

— То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск: послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартеру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят. Приедешь?..

Я обещал — и тот же день послал занять эту квартеру.

Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.

— Наконец я буду с нею танцевать целый вечер... Вот наговорюсь! — прибавил он.

— Когда же бал?

— Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить...

— Пойдем на бульвар...

— Ни за что! — в этой гадкой шинели...

— Как, ты ее разлюбил?..

Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз, — сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.

— Вы будете завтра приятно удивлены, — сказал я ей.

— Чем?..

— Это секрет... на бале вы сами догадаетесь.

Я окончил вечер у княгини; гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории; княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд?..

Вера всё это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть; она сидела в тени у окна, погружась в широкие кресла; мне стало жаль ее.

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, — разумеется, прикрыв всё это вымышленными именами.

Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги, — я в таком выгодном свете выставил ее поступки и характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной.

Она встала, подсела к нам, оживилась... и мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать.

5-го июня

За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты неимоверной величины были загнуты кверху, в виде крылышек амура; сапоги его скрыпели, в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правою взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол; самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его празд-

личная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы,— ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен,— лицо его налилось кровью.

— Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? — сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

— Где нам дуракам чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным [7].

— Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. как под мышками режет!.. Нет ли у тебя духов?

— Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой...

— Ничего. Дай-ка сюда...

Он налил себе полсклянки за галстух, в носовой платок, на рукава.

— Ты будешь танцевать? — спросил он.

— Не думаю.

— Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку,— я не знаю почти ни одной фигуры...

— А ты звал ее на мазурку?

— Нет еще...

— Смотри, чтоб тебя не предупредили...

— В самом деле,— сказал он, ударив себя по лбу.— Прощай... пойду дожидаться ее у подъезда.— Он схватил фуражку и побежал.

Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто; вокруг собрания или трактира, как угодно, теснился народ; окна его светились; звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно; мне было грустно. Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов,— или в сотрудники поставщику повестей, например для «Библиотеки для чтения?»... Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титюлярными советниками?..

Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим

жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам; на лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то; я тихонько подошел сзади, чтоб подслушать их разговор.

— Вы меня мучите, княжна,— говорил Грушницкий: — вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал...

— Вы также переменились,— отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.

— Я? я переменился? — О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ...

— Перестаньте!..

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

— Потому что я не люблю повторений,— отвечала она, смеясь.

— О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что по крайней мере эти эполеты дадут мне право надеяться... Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием...

— В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу...

В это время я подошел и поклонился княжне; она немножко покраснела и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсье Грушницкому?..

— Я с вами не согласен,— отвечал я: — в мундире он еще моложавее.

Грушницкий не вынес этого удара: как все мальчики, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь.

— А признайтесь,— сказал я княжне,— что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен... в серой шинели?..

Она потупила глаза и не отвечала.

Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или vis-à-vis; он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела.

— Я этого не ожидал от тебя,— сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

— Чего?

— Ты с нею танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом.— Она мне призналась...

— Ну, так что ж? А разве это секрет?

— Разумеется, я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!

— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее! Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

— Зачем же подавать надежды?

— Зачем же ты надеялся? — Желать и добиваться чего-нибудь — понимаю, а кто ж надеется?

— Ты выиграл пари,— только не совсем,— сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали: это явно был заговор против меня. Тем лучше. Ей хочется говорить со мною, ей мешают,— ей захочется вдвое более.

Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь,— сказала она мне, когда мазурка кончилась.

— Этому виноват Грушницкий.

— О, нет! — И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собой.

За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я взошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид...

Очень рад. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть всё огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов,— вот что я называю жизнью!

В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.

6-го июня

Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Лиговской. Она мне кивнула головой, во взгляде ее был упрек.

Кто ж виноват! зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь,— без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы.

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла,— больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами,

приняла, в самом деле, грозный вид.— Я рад, что княжна больна: они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид: он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено; но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно.

Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. *Я не видал ее! — Она больна!* Уж не влюбился ли я в самом деле? — Какой вздор!

7-го июня

В одиннадцать часов утра,— час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне,— я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидав меня, вскочила.

Я взошел в переднюю; людей никого не было, и я без докладу, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную.

Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны; она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошел к ней и сказал:

— Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор и покачала головой; ее губы хотели проговорить что-то, и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась в кресла и закрыла лицо руками.

— Что с вами? — сказал я, взяв ее руку.

— Вы меня не уважаете!.. О! оставьте меня!..

Я сделал несколько шагов... Она выпрямилась на креслах, глаза ее засверкали..

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал:

— Простите меня, княжна! Я поступил как безумец... этого в другой раз не случится: я приму свои меры!.. Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей! Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.

Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении.

Ко мне зашел Вернер.

— Правда ли,— спросил он,— что вы женитесь на княжне Лиговской?

— А что?

— Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ: всё знают!

«Это штуки Грушницкого!» — подумал я.

— Чтобы вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск...

— И княгиня также?..

— Нет; она остается еще на неделю здесь...

— Так вы не женитесь!..

— Доктор, доктор! посмотрите на меня: неужели я похож на жениха, или на что-нибудь подобное?

— Я этого не говорю!.. Но вы знаете, есть случаи,— прибавил он, хитро улыбаясь,— в которых благородный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые по крайней мере не предупреждают этих случаев... Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее! Здесь на водах преопасный воздух; сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец... Даже, поверите ли, меня хотели женить! Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастие сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и всё свое состояние — пятьдесят душ, кажется! Но я отвечал, что я к этому неспособен.

Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет.

10-го июня

Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условленного знака; мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле, здесь всё дышит уединением, здесь всё таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации,— и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и наконец кидаются в Подкумок;— с этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину: по ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне всё кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге,— а той всё нет. Слободка, которая за крепостью, населилась; в ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздается до поздней ночи.

Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь.

Но смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников — я не из их числа [8].

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется.

Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно — несчастия развивают в нем воинственный дух.

11-го июня

Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблен?.. Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.

Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери... плохо! — Зато Вера ревнует меня к княжне: добился же я этого благополучия! Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума: женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтобы они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален; чтоб выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный:

Этот человек любит меня — но я замужем,— следовательно, не должна его любить.

Способ женский:

Я не должна его любить — ибо я замужем,— но он меня любит,— следовательно... тут несколько точек, ибо рассудок уж ничего не говорит, а говорят большею частию: язык, глаза и, вслед за ними, сердце, если оное имеется.

Что если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? — Клевета! — закричит она с негодованием.

С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом...

Некстати было бы мне говорить о них с такой злостью,— мне, который, кроме их, на свете ничего не любил, мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнию... Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, всё, что я говорю о них, есть только следствие —

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет [9].

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.

Кстати: Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом [10], о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Иерусалиме». «Только приступи,— говорил он,— на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что боже упаси: долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение... Надо только не смотреть, а идти прямо;— мало-помалу чудовища исчезают, и открывается перед тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт;— зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет, и обернешься назад».

12-го июня

Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая *Кольцом;* это ворота, образованные природой; они подымаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний, пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их — совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мери.

Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию.

— Смотрите наверх,— шепнул я ей:— это ничего, только не бойтесь, я с вами.

Ей стало лучше, она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный, мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

— Что вы со мною делаете!.. боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова, из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения.

— Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она наконец голосом, в котором были слезы.— Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу, и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... о, нет! не правда ли,— прибавила она голосом нежной доверенности: — не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение; ваш дерзкий поступок,— я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!..— В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастию, начинало смеркаться.— Я ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она: — вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю...

Я молчал...

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратясь ко мне. В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

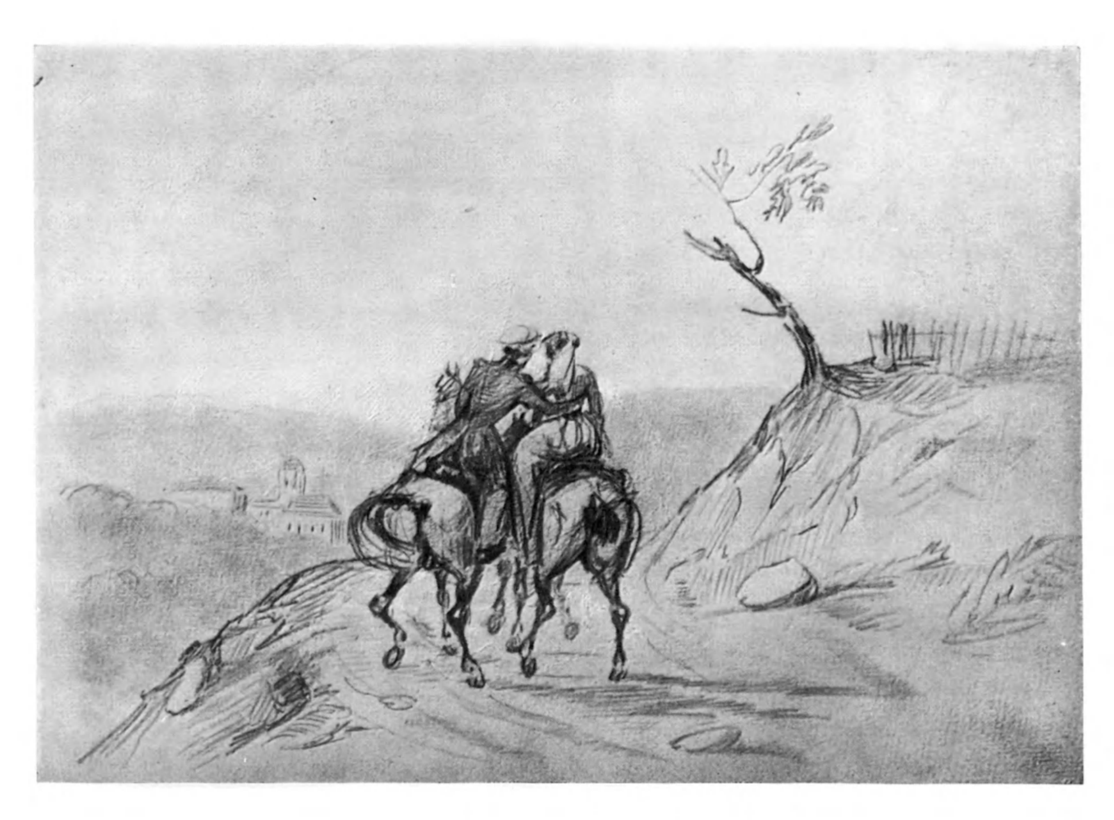
Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю Вампира!..[11] А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия.

Слезши с лошадей, дамы взошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин; каждый шаг моей некованной лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...

В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну: неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.

— Господа! — сказал он,— это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь



Всадники. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1840—1841.

Гос. Публ. библ. им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

— И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус,— да, трус!

— Я думаю то же,— сказал Грушницкий.— Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин всё обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться...

— Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну,— сказал кто-то.

— Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

— Да, я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий,— о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! — сказал опять драгунский капитан.— Господа! Никто здесь его не защищает? Никто!.. тем лучше; хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит...

— Хотим — только как?

— А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит — ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... Погодите: вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль, хорошо! Всё это — вызов, приготовления, условия, будет как можно торжественнее и ужаснее,— я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит — на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано... Согласны! Почему же нет,— раздалось со всех сторон.

— А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого, холодная злость овладевала мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «хорошо, я согласен».

Трудно описать восторг всей честнóй компании.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть: за что они все меня ненавидят? думал я. За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство? И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. Берегитесь, господин Грушницкий! говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате: со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка...

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Поутру я встретил княжну у колодца.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я также... я вас обвиняла... может быть напрасно? — Но объяснитесь, я могу вам простить всё...

— Всё ли?..

— Всё... только говорите правду... только скорее... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение; может быть вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего; когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю... О, отвечайте скорее,— сжальтесь... Вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатья.

— Я вам скажу всю истину,— отвечал я княжне:— не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков;— я вас не люблю.

Ее губы слегка побледнели...

— Оставьте меня,— сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

14-го июня

Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал неспособен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне: son coeur et sa fortune!.. * но надо мною слово *жениться* имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться — прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне *смерть от злой жены;* это меня тогда глубоко поразило: в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе... Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере я буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

---

* Руку и сердце... (Франц.) — *Ред.*

15-го июня

Вчера приехал сюда фокусник *Апфельбаум*. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик, будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера, в зале благородного собрания (иначе — в ресторации); билеты по два рубля с полтиной.

Все собираются идти смотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет.

Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице; муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини.— Я жду тебя. Приходи непременно».

— А-га! — подумал я: — наконец-таки вышло по-моему.

В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет.— Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и проч.

Грушницкий мне не кланяется уже несколько времени, а нынче два раза посмотрел на меня довольно дерзко. Всё это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор; лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию. У окон ее толпился народ. Я спустился с горы, и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мною. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою, и человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило. Однако я подкрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась; маленькая ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видал? — сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.

— Никто!

— Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю?.. О, я долго колебалась, долго мучилась... но ты из меня делаешь всё, что хочешь.

Ее сердце сильно билось, руки были холодны, как лед. Начались упреки ревности, жалобы,— она требовала от меня, чтоб я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет

единственно моего счастия. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и проч.

— Так ты не женишься на Мери? не любишь ее?.. А она думает... знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия... бедняжка!..

. . . .

. . . .

Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленах руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики; ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо. «А-га! — сказал грубый голос: — попался!.. будешь у меня к княжнам ходить ночью!..»

— Держи его крепче! — закричал другой, выскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты; все тропинки сада, покрывающего отлогость против наших домов, были мне известны.

— Воры! караул!..— кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пыж упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

— Печорин! вы спите? здесь вы?..— кричал капитан.

— Сплю,— отвечал я сердито.

— Вставайте,— воры... черкесы...

— У меня насморк,— отвечал я,— боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они б еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Всё зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах — и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте.

16-го июня

Нынче поутру у колодца только и было толков, что об ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь

раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью! — говорил он: — ведь надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и следственно я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину в моих глазах.

— Да неужто в самом деле это были черкесы? — сказал кто-то: — видел ли их кто-нибудь?

— Я вам расскажу всю историю,— отвечал Грушницкий,— только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчерась один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.

— Вот видите ли,— продолжал Грушницкий,— мы и отправились взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтобы попугать. До двух часов ждали в саду; наконец — уж бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть он вышел в стеклянную дверь, что за колонной,— наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона... Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! после этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и как заяц бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.

— Вы не верите? — продолжал он: — даю вам честное, благородное слово, что всё это сущая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто ж он!— раздалось со всех сторон.

— Печорин,— отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

— Прошу вас,— продолжал я тем же тоном: — прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не подымая глаз:

— Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю, и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на всё.

— Последнее вы уж доказали,— отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

— Что вам угодно? — спросил капитан.

— Вы приятель Грушницкого и, вероятно, будете его секундантом?

Капитан поклонился очень важно.

— Вы отгадали,— отвечал он: — я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера ночью,— прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.

— А! так это вас ударил я так неловко по голове!..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

— Я буду иметь честь прислать к вам нониче моего секунданта,— прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

— Благородный молодой человек! — сказал он, с слезами на глазах.— Я всё слышал; экой мерзавец! неблагодарный!.. Принимай их после этого в порядочный дом! Слава богу, у меня нет дочерей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени,— продолжал он: — я сам был молод и служил в военной службе; знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей...

Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему всё — отношения мои к Вере и княжне и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки; они, вероятно, не ожидали такой развязки.

Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно

готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.

После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

— Против вас, точно, есть заговор,— сказал он.— Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню; я на минуту остановился в передней, чтоб снять калоши; у них был ужасный шум и спор... «Ни за что не соглашусь! — говорил Грушницкий: — он меня оскорбил публично — тогда было совсем другое...» — «Какое тебе дело? — отвечал капитан: — я всё беру на себя. Я был секундантом на пяти дуэлях, и уж знаю, как это устроить. Я всё придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?..» — В эту минуту я взошел. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в четыре часа утра, а мы выедем полчаса после них; стреляться будете на шести шагах — этого требовал сам Грушницкий. Убитого — на счет черкесов. Теперь, вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяются; только Грушницкий, кажется, поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете? должны ли мы показать им, что догадались?

— Ни за что на свете, доктор; будьте спокойны: я им не поддамся.

— Что же вы хотите делать?

— Это моя тайна.

— Смотрите, не попадитесь... ведь на шести шагах!

— Доктор, я вас жду завтра в четыре часа; лошади будут готовы... Прощайте.

Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине,— я велел сказать, что болен.

. . . .

Два часа ночи. Не спится. А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... мы поменяемся ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жеребий!.. и тогда... тогда... что если его счастье перетянет? если моя звезда наконец мне изменит?.. И немудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? умереть так умереть: потеря для мира небольшая; да и мне

самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова? — прощайте!

Пробегаю в памяти всё мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А верно она существовала, и верно было мне назначенье высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные; но я не угадал этого назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаленья... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил; я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страданья — и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вины; он пожирает с восторгом воздушные дары воображенья, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта исчезает... остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле..... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец!.. И то и другое будет ложно. После этого сто́ит ли труда жить? а всё живешь — из любопытства; ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

Вот уже полтора месяца, как я в крепости *N;* Максим Максимыч ушел на охоту. Я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни. Скучно. Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями.

Перечитываю последнюю страницу: смешно! — Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий, и теперь чувствую, что мне еще долго жить.

— Как всё прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время.

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Валтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские Пуритане». Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом...

Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало: тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток Нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..

Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой; у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного.

— Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему.— Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка! я могу выздороветь, могу и умереть: то и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной,— и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени: вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.

Мы сели верхом; Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились. Мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.

Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томленье. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня: он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню — в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь всё становился у́же, утесы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча.

— Написали ли вы свое завещание? — вдруг спросил Вернер.

— Нет.
— А если будете убиты?..
— Наследники отыщутся сами.
— Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прости?..
Я покачал головой.
— Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..
— Хотите ли, доктор,— отвечал я ему,— чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе: иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счет бог знает какие небылицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему,— бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю и разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... второй?.. Посмотрите, доктор: видите ли вы, на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..
Мы пустились рысью.
У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слыхал.
— Мы давно уж вас ожидаем,— сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.
Я вынул часы и показал ему.
Он извинился, говоря, что его часы уходят.
Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому.
— Мне кажется,— сказал он,— что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.
— Я готов,— сказал я.
Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор, как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условия,— сказал он,— и всё, что я могу для вас сделать, то будьте уверены...

— Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения...

— Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?..

— Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..

— Мы будем стреляться...

Я пожал плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

— Я желаю, чтоб это были вы...

— А я так уверен в противном...

Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.

Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но всё это начинало меня бесить.

Ко мне подошел доктор.

— Послушайте,— сказал он с явным беспокойством: — вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют... Что за охота! подстрелят вас как птицу...

— Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите... Я всё так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться...

— Господа, это становится скучно! — сказал я им громко: — драться так драться; вы имели время вчера наговориться...

— Мы готовы,— отвечал капитан. — Становитесь, господа!.. Доктор, извольте отмерить шесть шагов...

— Становитесь! — повторил Иван Игнатьевич пискливым голосом.

— Позвольте! — сказал я: — еще одно условие; так как мы будем драться на смерть, то мы обязаны сделать всё возможное, чтоб это осталось тайною, и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?..

— Совершенно согласны.

— Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажень тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна; это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бро-

сим жеребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или наконец оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак! — сказал он Грушницкому довольно громко: — ничего не понимаешь! Отправимся же, господа!»

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.

— Я вам удивляюсь,— сказал доктор, пожав мне крепко руку.— Дайте пощупать пульс!.. о-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.

Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. Что это? Грушницкий спотыкнулся; ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! — закричал я ему: — не падайте заране; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря! [12]

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы: площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка.

Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз: голова чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда всё устро-

илось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать!.. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала: кто не заключал таких условий с своею совестью?

— Бросьте жеребий, доктор,— сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

— Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

— Орел! — сказал я.

Монета взвилась и упала звеня; все бросились к ней.

— Вы счастливы,— сказал я Грушницкому: — вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь! — даю вам честное слово.

Он покраснел: ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

— Пора,— шепнул мне доктор, дергая за рукав:— если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то всё пропало... Посмотрите, он уж заряжает... если вы ничего не скажете, то я сам...

— Ни за что на свете, доктор! — отвечал я, удерживая его за руку:— вы всё испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— О! это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь...

Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то; другой мне.

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны, не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и, по данному знаку, начал поднимать пистолет. Колена его дрожали. Он целил мне прямо в лоб.

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту.

— Не могу,— сказал он глухим голосом.

— Трус! — отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.

— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся,— сказал капитан: — теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не

увидимся!— Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха:— Не бойся,— прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого,— всё вздор на свете!.. Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличною важностью, он отошел на свое место; Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого роду чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненный в ногу немного сильнее я бы непременно свалился с утеса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

— Я вам советую перед смертью помолиться богу,— сказал я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

— И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан: — вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить... Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью — и нас увидят.

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор.

— Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова,— и хорошенько!

— Не может быть! — кричал капитан: — не может быть! я зарядил оба пистолета,— разве что из вашего пуля выкатилась... Это не моя вина!— А вы не имеете права переряжать... никакого права... это совершенно против правил,— я не позволю.

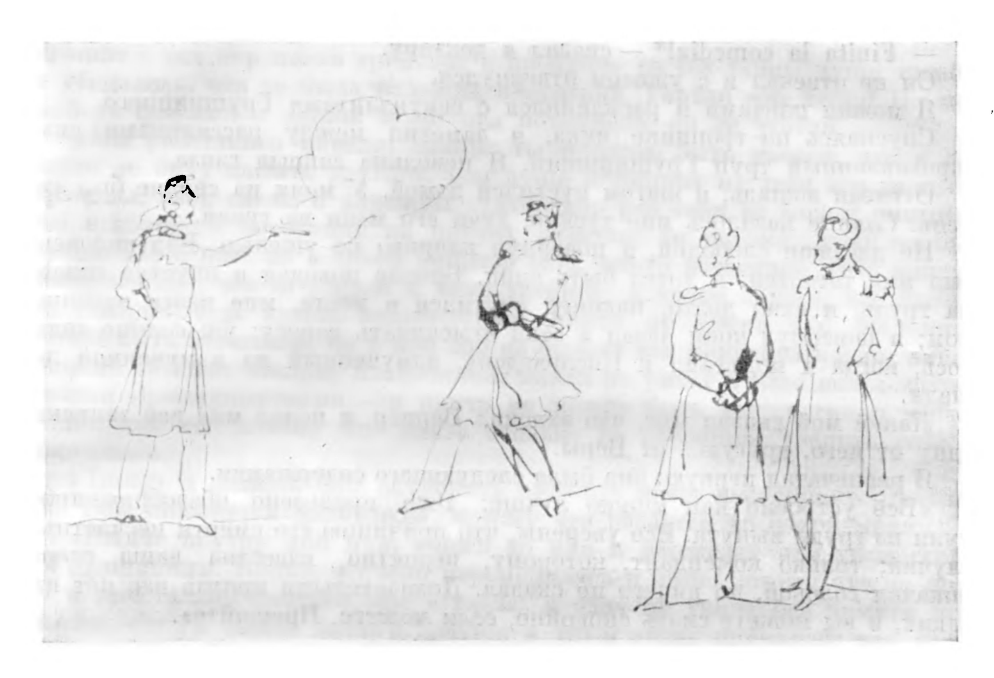
— Хорошо,— сказал я капитану: — если так, то мы будем стреляться на тех же условиях...

Он замялся.

Грушницкий стоял опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь их! — сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора.— Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки,— Грушницкий не хотел и смотреть.



Дуэль. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1832—1834.
ИРЛИ АН СССР

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне.

Увидав это, капитан плюнул и топнул ногой: «Дурак же ты, братец,— сказал он: — пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околевай себе как муха...» Он отвернулся и, отходя, пробормотал: «а всё-таки это совершенно противу правил».

— Грушницкий! — сказал я; — еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу всё; тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено,— вспомни, мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стреляйте! — отвечал он.— Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...

Я выстрелил.

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

— Finita la comedia!* — сказал я доктору.

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.

Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза.

Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе незнакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от Веры.

Я распечатал первую: она была следующего содержания.

«Всё устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно, *если можете*. Прощайте».

Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне писать? Тяжелое предчувствие волновало мою душу.

Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти:

«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе всё, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя — ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина; ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла с начала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий;

---

* Комедия окончена! (Итал.) — *Ред.*

прошло с тех пор много времени: я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.

«Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого; моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами,— и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

«Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

«Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума... Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... верно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету... вот уже три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла,— но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить,— не говорю уж любить,— нет, только помнить... Прощай: идут... я должна спрятать письмо...

«Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? — Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла всё на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух, по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдыхавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не

застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете, дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я всё скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте... Оставалось пять верст до Есентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Всё было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно; едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; чрез несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал.

И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, всё мое хладнокровие — исчезли, как дым, душа обессилела, рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастием бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — ее видеть? — зачем? не всё ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.

Мне однако приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Всё к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово, и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук, и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строеньях крепости и слободки. На дворе у нас всё было тихо, в доме княгини было темно.

Взошел доктор. Лоб у него был нахмурен, и он против обыкновения не протянул мне руки.

— Откуда вы, доктор?

— От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов! Да не в этом дело, а вот что: начальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей всё этот старичок рассказал: — как бишь его? — Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь...

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень,— и он вышел.

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства,— а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость *N*, я зашел к княгине проститься.

Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? я отвечал, что желаю ей быть счастливой и проч.

— А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так, прерывистым голосом:

— Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

— Я даже в этом уверена,— продолжала она,— хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, следственно, рисковали жизнью... Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит — и, надеюсь, вам также!.. Что до меня касается, то я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинно, но была этому причиной. Она мне всё сказала... я думаю, всё: вы изъяснились ей в любви... она вам призналась в своей (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает; она не признается, но я уверена, что вы этому причиной... Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства,— разуверьтесь! я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться,— вы имеете состояние,

вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастие мужа,— я богата, она у меня одна... Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь — вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня,— сказал я: — мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью,— наедине...

— Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

— Как хотите,— отвечал я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.

Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот двери отворились и взошла она. Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее,— а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленах, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна,— сказал я: — вы знаете, что я над вами смеялся!.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал: — Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

— Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

— Итак, вы сами видите,— сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою: — вы сами видите, что я не могу на вас жениться; если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот всё, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели — я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок... Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

— Я вас ненавижу... — сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Есентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято — вероятно, проезжим казаком,— и вместо седла на спине его сидели два ворона.— Я вздохнул и отвернулся!..

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное... Нет! я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...



III

ФАТАЛИСТ

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra *.

— Всё это, господа, ничего не доказывает,— сказал старый майор: — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения...

— Конечно, никто! — сказали многие: — но мы слышали от верных людей...

— Всё это вздор! — сказал кто-то: — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?..

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его,— всё это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

* За или против. (Латин.) — *ред.*

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал всё и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк; ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк»! — кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтёров.— «Идет семерка»,— отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью; карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтёра.

— Семерка дана! — закричал он, увидав его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

— Господа,— сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного): — господа, к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?

— Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон: — вот чудак! придет же в голову!..

— Предлагаю пари,— сказал я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нет предопределения,— сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев, всё, что было у меня в кармане.

— Держу,— отвечал Вулич глухим голосом.— Майор, вы будете судьею; вот пятнадцать червонцев, остальные пять вы мне должны, и сделаете мне дружбу прибавить их к этим.

— Хорошо,— сказал майор: — только не понимаю, право, в чем дело... и как вы решите спор......

Вулич молча вышел в спальню майора. Мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один

из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

— Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! — закричали ему.

— Господа! — сказал он медленно, освобождая свои руки: — кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола. Все последовали за ним. Он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его: я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

— Вы нынче умрете,— сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

— Может быть да, может быть и нет...

Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет. Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

— Да полно, Вулич! — закричал кто-то: — уж верно заряжен, коли в головах висел... что за охота шутить!..

— Глупая шутка,— подхватил другой.

— Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! — закричал третий.

Составились новые пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

— Послушайте,— сказал я: — или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдемте спать.

— Разумеется,— воскликнули многие,— пойдемте спать.

— Господа, я вас прошу не трогаться с места,— сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.

— Господин Печорин,— прибавил он: — возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепещал на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!

— Слава богу,— вскрикнули многие: — не заряжен...

Страница повести «Фаталист». Автограф М. Ю. Лермонтова. 1839.
Гос. Публ. библ. им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

— Посмотрим, однако ж,— сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном,— выстрел раздался — дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку: она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич преспокойно пересыпал в свой кошелек мои червонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что вероятно полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во всё время не спускал глаз с пистолета.

— Вы счастливы в игре,— сказал я Вуличу...

— В первый раз отроду,— отвечал он, самодовольно улыбаясь: — это лучше банка и штосса.

— Зато немножко опаснее.

— А что? вы начали верить предопределению?

— Верю... только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

— Однако ж довольно,— сказал он, вставая: — пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны...— Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным,— и недаром!..

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо, с своими бесчисленными жителями, на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, по-

тому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою.

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли; и к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем: я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? — одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном пути, и имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но по-видимому неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? предо мною лежала свинья, разрубленная пополам шашкой...... Едва я успел ее рассмотреть, как услыхал шум шагов: два казака бежали из переулка; один подошел ко мне и спросил: не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойник! — сказал второй казак: — как напьется чихиря, так и пошел крошить всё, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартеры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку, Настю.

Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя!» — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечу и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но видно было написано на небесах, что в эту ночь я не высплюсь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны, как смерть.

— Что?

— Вулич убит.

Я остолбенел.

— Да, убит,— продолжали они: — пойдем скорее.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне всё, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «кого ты, братец, ищешь?» — «*Тебя!*» — отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца...... Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «он прав!». Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня, я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы. Мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону. По временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот, наконец, мы пришли: смотрим, вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою; женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние; она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздраги-

вал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

— Согрешил, брат Ефимыч,— сказал есаул: — так уж нечего делать, покорись.

— Не покорюсь,— отвечал казак.

— Побойся бога, ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; — ну уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь.

— Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

— Эй, тетка,— сказал есаул старухе: — поговори сыну; авось тебя послушает... Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

— Василий Петрович,— сказал есаул, подойдя к майору:— он не сдастся: я его знаю; а если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

— Погодите,— сказал я майору:— я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

— Ах ты окаянный! — кричал есаул: — что ты над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? — Он стал стучать в дверь изо всей силы: я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения,— и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти шашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки; казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем, или нет?.. И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает

решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что́ меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу всё, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

— Да-с, конечно-с! — это штука довольно мудреная! Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны, или недовольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны,— приклад маленький, того и гляди, нос обожжет... Зато уж шашки у них — просто мое почтение!

Потом он промолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу... Чёрт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано......

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

Конец



КАВКАЗЕЦ

Во-первых, что такое именно кавказец и какие бывают кавказцы? Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России. Ему большею частью от тридцати до сорока пяти лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если он не штабс-капитан, то уж верно майор. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; за горами, в Грузии, они имеют другой оттенок; статские кавказцы редки: они большею частию неловкое подражание, и если вы между ними встретите *настоящего,* то разве только между полковых медиков.

Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия. До восемнадцати лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он потихоньку в классах читал «Кавказского пленника» и воспламенялся страстью к Кавказу. Он с десятью товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами и маленьким чемоданом. Он еще в Петербурге сшил себе ахалук, достал мохнатую шапку и черкесскую плеть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной кинжал и первые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. Наконец, он явился в свой полк, который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку, пока, до экспедиции; всё прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками десятка два горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совершает рыцарские подвиги — мечта, вздор, неприятеля не видать, схватки редки, и, к его великой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть лет: всё одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно-храбр и смеется над новичками, которые подставляют лоб без нужды.

Между тем хотя грудь его увешана крестами, а чины нейдут. Он стал

мрачен и молчалив; сидит себе да покуривает из маленькой трубочки; он также на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо; в экспедицию он больше не напрашивается: старая рана болит! Казачки его не прельщают, он одно время мечтал о пленной черкешенке, но теперь забыл и эту почти несбыточную мечту. Зато у него явилась новая страсть, и тут-то он делается настоящим кавказцем.

Эта страсть родилась вот каким образом: последнее время он подружился с одним мирным черкесом, стал ездить к нему в аул. Чуждый утонченной светской и городской жизни, он полюбил жизнь простую и дикую; не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств. Знает, какой князь надежный и какой плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка, настоящая *гурда,* кинжал — старый *базалай,* пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую он сам смазывает, лошадь — чистый *шаллох* и весь костюм черкесский, который надевается только в важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Страсть его ко всему черкесскому доходит до невероятия. Он готов целый день толковать с грязным узденем о дрянной лошади и ржавой винтовке и очень любит посвящать других в таинства азиатских обычаев. С ним бывали разные казусы предивные, только послушайте. Когда новичок покупает оружие или лошадь у его приятеля узденя, тот только исподтишка улыбается. О горцах он вот как отзывается: «Хороший народ, только уж такие азиаты! Чеченцы, правда, дрянь, зато уж кабардинцы просто молодцы; ну есть и между шапсугами народ изрядный, только всё с кабардинцами им не равняться, ни одеться так не сумеют, ни верхом проехать... хотя и чисто живут, очень чисто!».

Надо иметь предубеждение кавказца, чтобы отыскать что-нибудь чистое в черкесской сакле.

Опыт долгих походов не научил его изобретательности, свойственной вообще армейским офицерам; он франтит своей беспечностью и привычкой переносить неудобства военной жизни, он возит с собой только чайник, и редко на его бивачном огне варятся щи. Он равно в жар и в холод носит под сюртуком ахалук на вате и на голове баранью шапку; у него сильное предубежденье против шинели в пользу бурки; бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает — ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он спит на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую андийскую бурку, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда уже смотрит на других с некоторым презрением. По его словам, его лошадь скачет удивительно — вдаль! поэтому-то он с вами не захочет скакаться только на пятнад-

цать верст. Хотя ему порой служба очень тяжела, но он поставил себе за правило хвалить кавказскую жизнь; он говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна.

Но годы бегут, кавказцу уже сорок лет, ему хочется домой, и если он не ранен, то поступает иногда таким образом: во время перестрелки кладет голову за камень, а ноги выставляет *на пенсион*; это выражение там освящено обычаем. Благодетельная пуля попадает в ногу, и он счастлив. Отставка с пенсионом выходит, он покупает тележку, запрягает в нее пару верховых кляч и помаленьку пробирается на родину, однако останавливается всегда на почтовых станциях, чтоб поболтать с проезжающими. Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он *настоящий*, даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его ни беспокоят. Станционный смотритель слушает его с уважением, и только тут отставной герой позволяет себе прихвастнуть, выдумать небылицу; на Кавказе он скромен — но ведь кто ж ему в России докажет, что лошадь не может проскакать одним духом двести верст и что никакое ружье не возьмет на четыреста сажен в цель? Но увы, большею частию он слагает свои косточки в земле басурманской. Он женится редко, а если судьба и обременит его супругой, то он старается перейти в гарнизон и кончает дни свои в какой-нибудь крепости, где жена предохраняет его от гибельной для русского человека привычки.

Теперь еще два слова о других кавказцах, *не настоящих*. Грузинский кавказец отличается тем от настоящего, что очень любит кахетинское и широкие шелковые шаровары. Статский кавказец редко облачается в азиатский костюм; он кавказец более душою, чем телом: занимается археологическими открытиями, толкует о пользе торговли с горцами, о средствах к их покорению и образованию. Послужив там несколько лет, он обыкновенно возвращается в Россию с чином и красным носом.



ПРИЛОЖЕНИЯ



Б. М. Эйхенбаум

РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

1

История замысла и писания «Героя нашего времени» совершенно неизвестна: ни в письмах Лермонтова, ни в воспоминаниях о нем никаких сведений об этом нет. В письме к С. А. Раевскому от 8 июня 1838 г. (из Царского Села), когда работа над новым романом была, вероятно, уже начата, Лермонтов ограничился сообщением, что начатый прежде роман (т. е. «Княгиня Лиговская») «затянулся и вряд ли кончится». Кроме того в этом письме есть грустная фраза: «Писать не пишу, печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно». Речь идет, по-видимому, о поэме «Тамбовская казначейша», написанной как будто специально для того, чтобы проститься с этим старым жанром («Пишу, друзья, на старый лад») и обратиться к прозе.

Некоторые наблюдения и предположения относительно замысла и писания «Героя нашего времени» можно сделать путем анализа самих текстов. Еще до выхода романа отдельным изданием три входящие в него повести были напечатаны в «Отечественных записках»: «Бэла» (1839, № 3), «Фаталист» (1839, № 11) и «Тамань» (1840, № 2). «Бэла» появилась с подзаголовком: «Из записок офицера о Кавказе»; тем самым был сделан намек на продолжение. Такая возможность подтверждалась и концом повести, где автор рассказывает, как он в Коби расстался с Максимом Максимычем: «Мы не надеялись никогда более встретиться, однако, встретились, и если хотите, я когда-нибудь расскажу: это целая история» [1].

«Фаталист», появившийся после большого перерыва, не имел подзаголовка, но редакция сделала к нему следующее примечание: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей,

---

[1] Так — в журнальном тексте; в отдельном издании слово «когда-нибудь» убрано, поскольку вслед за «Бэлой» шел рассказ о новой встрече с Максимом Максимычем.

и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый прекрасный подарок русской литературе». Из этих слов нельзя было заключить, что будущее «собрание повестей» окажется цельным «сочинением» (как сказано на обложке отдельного издания) или даже романом, но тексту «Фаталиста» предшествует предисловие автора «Бэлы», устанавливающее прямую сюжетную или структурную связь этих вещей:

«Предлагаемый здесь рассказ находится в записках Печорина, переданных мне Максимом Максимычем. Не смею надеяться, чтоб все читатели помнили оба эти незабвенные для меня имени, и потому считаю нужным напомнить, что Максим Максимыч есть тот добрый штабс-капитан, который рассказал мне историю *Бэлы,* напечатанную в 3-й книжке ,,От. записок", а Печорин — тот самый молодой человек, который похитил Бэлу. Передаю этот отрывок из записок Печорина в том виде, в каком он мне достался».

Прибавим, что внимательный читатель мог и сам заметить, что рассказчик и герой «Фаталиста» — Печорин, поскольку в конце говорится: «Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу всё, что случилось со мною» и т. д. Надо еще отметить, что предисловием к «Фаталисту» Лермонтов отождествил себя с автором «Бэлы» и придал рассказанной там встрече с Максимом Максимычем совершенно мемуарный характер. Что касается «Тамани», то она появилась в журнале с кратким редакционным примечанием: «Еще отрывок из записок Печорина, главного лица в повести ,,Бэла", напечатанной в 3-й книжке ,,Отеч. записок" 1839 года».

Из всего этого как будто следует, что порядок появления этих трех вещей в печати и был порядком их написания, т. е. что работа над «Героем нашего времени» началась «Бэлой». В пользу этого говорит также признание, сделанное в рассказе «Максим Максимыч»: задержавшись в Екатеринограде, автор «вздумал записывать рассказ Максим Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей» [2]. Однако эти слова можно понять иначе: они могут относиться не к истории писания, а уже к процессу расположения и сцепления повестей. В общей композиции романа «Бэла» действительно оказалась «первым звеном», но значит ли это, что она была написана раньше всех других? Есть признаки, свидетельствующие об иной последовательности написания.

---

[2] В рукописи есть интересный вариант: вместо слов «длинной цепи повестей» было написано сначала — «длинного рассказа», потом — «длинного ряда прои(сшествий?)» (М. Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений, т. VI. М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 566. В дальнейшем все ссылки даются по этому изданию сокращенно: в скобках после цитаты указываются соответствующий том и страница). Слово «рассказ» надо в данном случае понимать, очевидно, не в жанровом значении, а в смысле самого «рассказывания» — как указание на объем всего будущего произведения.

В конце «Тамани» есть фраза: «Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну»; в журнальном тексте (и в рукописи) эта фраза имеет продолжение: «а право я ни в чем не виноват: любопытство — *вещь, свойственная всем путешествующим и записывающим людям»*. Итак, герой «Тамани» оказывается не только «странствующим офицером» с подорожной «по казенной надобности», но и литератором, и тем самым его поведение с «ундиной» находит себе дополнительное оправдание в профессиональном «любопытстве» — в желании собрать интересный материал. Почему же, в таком случае, в отдельном издании «Героя нашего времени» этих слов нет? Дело в том, что автор «Бэлы», описав первую встречу и знакомство с Максимом Максимычем, признается: «Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — *желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям»*. Такое повторение одних и тех же слов в устах автора и героя, конечно, не входило в намерения Лермонтова — оно явилось результатом простого недосмотра; но который из этих случаев (и, следовательно, который из рассказов) следует признать первоначальным?

Литературная профессия автора «Бэлы» отражена не только в словах о желании «вытянуть историйку» (нарочито профессиональная лексика!), но и в целом ряде других деталей — вроде упоминания о том, что чемодан был «до половины набит записками о Грузии», или противопоставления Максима Максимыча «нам» — «восторженным рассказчикам на словах и на бумаге». Мало того: из примечания к переводу песни Казбича («привычка — вторая натура») следует, что автор «Бэлы» — поэт. Наконец, приведенное выше предисловие к «Фаталисту», как мы уже отметили, заставляет видеть в авторе «Бэлы» не обычную литературную мистификацию, а самого Лермонтова. Итак, в «Бэле» слова о «записывающих людях» являются органической частью текста, между тем как в «Тамани» они играют совершенно второстепенную мотивировочную роль — как оправдание «любопытства».

Отметим еще одну интересную деталь в самом конце «Тамани». В рукописи финальный текст был следующий: «Что сталось с бедной старухой, со всевидящим слепым — не знаю и не желаю знать. Сбыли они с рук свою контрабанду или их посадили в острог? Какое дело мне до бедствий и радостей человеческих, мне, странствующему офицеру и еще с подорожной по казенной надобности?» (VI, 573). Как бы ни толковать последние слова (т. е. всерьез или с иронией) — они находятся в явном противоречии со словами о профессиональном «любопытстве». Понятно поэтому, что в журнале от приведенного рукописного текста осталось только: «Что сталось с бедной старухой и с мнимым слепым — не знаю». Однако в отдельном издании «Героя нашего времени» вопрос решен иначе: сняты слова о «любопытстве» записываю-

щих людей, а приведенная выше концовка восстановлена в несколько сокращенной редакции: «Что сталось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!».

Всё это приводит к выводу, что слова о «записывающих людях» появились сначала в «Тамани» (как мотивировочная деталь), а затем, когда уже определилась перспектива «длинной цепи повестей», эта деталь пригодилась для «Бэлы», где и была развернута как элемент стиля и композиции. Что касается «Тамани», то в ее журнальном тексте эти слова остались, очевидно, по недоразумению. Надо, следовательно, думать, что «Тамань» была написана до «Бэлы»; мы бы даже решились утверждать, что «Тамань» написана вне всякого цикла и до мысли о нем, т. е. что по своему происхождению этот рассказ не имеет никакого отношения к Печорину, если бы не одно обстоятельство, несколько мешающее такому выводу.

Рассказ «Максим Максимыч», служащий переходом от «Бэлы» к «Журналу Печорина» и содержащий эпизод передачи записок Печорина их будущему издателю, появился впервые только в отдельном издании. Здесь он заканчивается словами: «Я уехал один»; за этим следует предисловие «издателя» к «Журналу Печорина», где решение печатать эти записки мотивировано смертью их автора («Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер» и т. д.). В рукописи было иначе. Никакого предисловия к «Журналу Печорина» первоначально не было[3], а в рассказе «Максим Максимыч» после слов «Я уехал один» был еще текст, содержащий краткую мотивировку публикации. Здесь нет никаких указаний на смерть Печорина (наоборот — сказано, что за перемену фамилии он, конечно, сердиться не будет), а решение публиковать его записки мотивировано иначе: «Я пересмотрел записки Печорина и заметил по некоторым местам, что он готовил их к печати, без чего, конечно, я не решился бы употребить во зло доверенность штабс-капитана. В самом деле Печорин в некоторых местах обращается к читателям». Однако Печорин нигде не обращается к читателям (такие обращения есть в «Бэле»), если не считать «обращениями» такие случаи в «Тамани», как «признаюсь» или «но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз». Как бы то ни было — Лермонтов, видимо, собирался одно время сделать Печорина если не литератором, то все же человеком, занимающимся литературой, и мотивировать таким образом

---

[3] Недаром это предисловие написано на отдельном листе, приклеенном к рукописи, в которой содержатся автографы «Максима Максимыча», «Фаталиста» и «Княжны Мери».

высокие литературные качества его записок. Впоследствии это намерение отпало (в «Княжне Мери» есть даже специальная фраза — «Ведь этот журнал я писал для себя»), в предисловии к «журналу» издатель считает уже нужным объяснить причины, побудившие его «предать публике сердечные тайны человека», которого он никогда не знал, а видел только раз на большой дороге. Главная из этих причин — «искренность» автора, писавшего свои записки «без тщеславного желания возбудить участие или удивление». Возможно, значит, что слова о «записывающих людях» в конце «Тамани» — остаток первоначального намерения; зато первый вывод остается: «Тамань» была написана до «Бэлы», и скорее всего — раньше всех других повестей, составивших роман.

Есть вообще некоторые основания думать, что первоначальный состав «длинного рассказа» ограничивался тремя вещами: «Бэла», «Максим Максимыч» и «Княжна Мери»; остальные две, «Тамань» и «Фаталист», во-первых, не подходят под понятие «журнала» (т. е. дневника) и, во-вторых, по духу своему не совсем согласуются с личностью Печорина, как она обрисовывается из «журнала», а иной раз и с его стилем, кругом представлений, знаний и т. п. Например, описание «ундины» в «Тамани» сходно с манерой, в которой сделано описание Печорина автором «Бэлы» (слова о «породе» и проч.); упоминание о «Юной Франции» и о «Гётевой Миньоне» кажутся тоже более естественными в устах автора «Бэлы», чем ее героя. Недаром в рукописи «Тамани» оказались слова о «записывающих людях», а в «Княжне Мери» есть слова, как будто оставшиеся от намерения сделать Печорина литератором: «Уж не назначен ли я ею (судьбой) в сочинители мещанских трагедий и семейных романов, — или в сотрудники поставщику повестей, например для „Библиотеки для чтения"?». Отметим, наконец, что предисловие издателя к «Журналу Печорина» целиком относится именно и только к «Княжне Мери», поскольку это произведение представляет собою, действительно, исповедь души, а не сюжетную новеллу. Можно даже сказать, что заглавие этой исповеди кажется странным: это дневник, в котором Вера, в сущности, играет более серьезную роль, чем княжна Мери. Для такой вещи самым естественным заглавием было бы — «Журнал Печорина»; включение «Тамани» и «Фаталиста»[4] заставило Лермонтова дать особое заглавие дневнику, который на самом деле и превращает это «собрание повестей» в роман. «Кто не читал самой большой повести этого романа — „Княжна Мери", тот не может судить ни об идее, ни о достоинстве целого создания», — решительно

---

[4] 12 сентября 1839 г. Лермонтов (как отмечено в дневнике А. И. Тургенева) читал у Карамзиных свою «повесть» — какую, не сказано, и нет ни слова об ее связи с «Героем нашего времени»; между тем это был, вероятнее всего, «Фаталист».

заявил Белинский в своем первом коротком отзыве о «Герое нашего времени» [5].

Итак, «Герой нашего времени» — это цикл повестей, собранных вокруг одного героя: очень важная особенность, отличающая это «сочинение» от всевозможных сборников и циклов, распространенных в русской литературе 30-х годов. Чтобы осуществить такую психологическую циклизацию и сделать ее художественно убедительной, надо было отказаться от прежних приемов сцепления и найти новый, который придал бы всей композиции цикла вполне естественный и мотивированный характер. Лермонтов это и сделал, вовсе отделив автора от героя и расположив повести в особой последовательности, которая мотивируется не только сменой рассказчиков (как это было, например, у Бестужева), но и постепенным ознакомлением с жизнью и личностью героя: от первоначальной характеристики, получаемой читателем, так сказать, из вторых рук (автор «Бэлы» передает рассказ Максима Максимыча), читатель переходит к характеристике прямой, но сделанной автором на основании наблюдений со стороны («на большой дороге», как сказано в предисловии к «Журналу Печорина»); после такой «пластической» подготовки [6] читателю предоставляется возможность судить о герое по его собственным запискам. Белинский отметил, что «части этого романа расположены сообразно с внутреннею необходимостью» [7] и что, «несмотря на его эпизодическую отрывочность, его нельзя читать не в том порядке, в каком расположил его сам автор: иначе вы прочтете две превосходные повести и несколько превосходных рассказов, но романа не будете знать» [8].

Надо прибавить, что жизнь героя дана в романе не только фрагментарно (на что указано в предисловии к «Журналу»), но и с полным нарушением хронологической последовательности — или, вернее, путем скрещения двух хронологических движений. Одно из них идет прямо и последовательно: от первой встречи с Максимом Максимычем («Бэла») — ко второй, через день: затем, спустя какое-то время, автор этих двух вещей, узнав о смерти Печорина, публикует его записки. Это хронология самого *рассказывания* — последовательная история ознакомления автора (а с ним вместе и читателя) со своим героем. Другое дело — хронология событий,

---

[5] В Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV. М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 146.

[6] Слово «пластический» употреблено здесь в том смысле, в каком употребил его В. Ф. Одоевский: «Форма ⟨...⟩ изменилась у меня по упреку Пушкина о том, что в моих прежних произведениях слишком видна моя личность; я стараюсь быть более пластическим — вот и всё» (П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский, т. I, М., 1913, часть 2-я, стр. 298).

[7] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 267.

[8] Там же, стр. 146.

т. е. *биография* героя: от «Тамани» идет прямое движение к «Княжне Мери», поскольку Печорин приезжает на воды, очевидно, после участия в военной экспедиции (в «Тамани» он — офицер, едущий в действующий отряд); но между «Княжной Мери» и «Фаталистом» надо вставить историю с Бэлой, поскольку в крепость к Максиму Максимычу Печорин попадает после дуэли с Грушницким («Вот уже полтора месяца, как я в крепости *N*; Максим Максимыч ушел на охоту»). Встреча автора с героем, описанная в рассказе «Максим Максимыч», происходит спустя пять лет после события, рассказанного в «Бэле» («Этому скоро пять лет»,— говорит штабс-капитан), а читатель узнает о ней до чтения «журнала». Наконец, о смерти героя читатель узнает раньше, чем об истории с «ундиной», с княжной Мери и проч.— из предисловия к «журналу». Мало того, это сообщение сделано с ошеломляющей своей неожиданностью прибавкой: «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало».

Перед нами, таким образом, как бы двойная композиция, которая, с одной стороны, создает нужное для романа впечатление длительности и сложности сюжета, а с другой — постоянно вводит читателя в душевный мир героя и открывает возможность для самых естественных мотивировок самых трудных и острых положений — вроде встречи автора со своим собственным героем или преждевременного (с сюжетной точки зрения) сообщения о его смерти. Это было новым по сравнению с русской прозой 30-х годов явлением — и вовсе не узко «формальным», поскольку оно было порождено стремлением рассказать «историю души человеческой», поставить, как говорит Белинский, «важный современный вопрос о внутреннем человеке» [9]. Для этого надо было воспользоваться теми приемами сцепления повестей и построения сюжета, которые были известны раньше, но наделить их новыми функциями и найти для них убедительные внутренние мотивировки. Совершенно прав был А. Григорьев, когда заявил, что «те элементы, которые так дико бушуют в „Аммалат-беке“ ⟨Бестужева-Марлинского⟩, в его бесконечно тянувшемся „Мулла Нуре“, вы ими же, только сплоченными могучею властительною рукою художника, любуетесь в созданиях Лермонтова» [10]. Так необходимо было (для «пластической» подачи героя) вложить первоначальные сведения о Печорине в уста особого рассказчика — человека, хорошо осведомленного и доброжелательного, но постороннего по духу и воспитанию; это привело к появлению Максима Максимыча. У другого писателя 30-х годов он, вероятно, так и остался бы

[9] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 146.

[10] «Время», 1862, № 10. Современное обозрение, стр. 26. Напомним кстати слова Л. Н. Толстого в разговоре с С. Т. Семеновым: «— Вы не читали Марлинского? — Я сказал, что нет.— Очень жаль, там было много интересного». (С. Т. Семенов. Воспоминания о Л. Н. Толстом. СПб., 1912, стр. 80).

в роли рассказчика — как «помощный» персонаж; Лермонтов прилагает ряд специальных усилий, чтобы укрепить его положение в романе и сделать его мотивировочную функцию возможно менее заметной. Правдоподобность и убедительность мотивировок — одна из художественных особенностей «Героя нашего времени», благодаря которой знакомые по прежней литературе (русской и западной) «романтические» ситуации и сцены приобретают здесь вполне естественный, «реалистический» характер. На фоне такой необычной, сохраняющей черты «демонизма» личности, как Печорин, простота этих мотивировок действует особенно убедительно. Двойная композиция романа подкрепляется двойным психологическим и стилистическим строем рассказанной в нем русской жизни.

2

«Герой нашего времени» — первый в русской прозе «личный» (по терминологии, принятой во французской литературе), или «аналитический» роман: его идейным и сюжетным центром служит не внешняя биография («жизнь и приключения»), а именно *личность* человека — его душевная и умственная жизнь, взятая изнутри, как процесс. Этот художественный «психологизм», характерный не только для русской, но и для французской литературы 30-х годов, был плодом глубоких общественно-исторических потрясений и разочарований, начало которых восходит к революции 1789 г. «Болезнь нашего века,— говорит Альфред де Мюссе,— происходит от двух причин: народ, прошедший через 1793 и 1814 годы, носит в сердце две раны. Всё то, что было, уже прошло. Всё то, что будет, еще не наступило. Не ищите же ни в чем ином разгадки наших страданий» [11]. В сердце русского народа была своя национальная рана — декабрьская катастрофа и последовавшая за ней эпоха николаевского деспотизма.

Первоначально Лермонтов озаглавил свой роман «Один из героев начала века». В этом варианте заглавия можно усмотреть и отражение и своего рода полемику с нашумевшим тогда романом Мюссе «Исповедь сына века» (точнее — «одного из детей века»). Предмет художественного изучения Лермонтова — не типичное «дитя века», зараженное его болезнью, а личность, наделенная чертами героики и вступающая в борьбу со своим веком. Другое дело, что эта борьба носит трагический характер,— важно, что она предпринята. В этой редакции слово «герой» звучит без всякой иронии и, может быть, прямо намекает на декабристов («герои начала века»); в окончательной формулировке «Герой нашего времени» есть иронический оттенок (но падающий, конечно, не на слово «герой», а на слово «нашего»,

---

[11] А. де Мюссе. Избранные произведения, т. II. М., 1957, стр. 16.

т. е. не на личность, а на эпоху) [12]. В этом смысле очень многозначителен уклончивый (но, в сущности, достаточно ясный) ответ автора на вопрос читателей о характере Печорина (в конце предисловия к «журналу»): «Мой ответ — заглавие этой книги. — «Да это злая ирония! — скажут они.— Не знаю» [13]. Значит, это, действительно, отчасти и ирония, но адресованная не к «характеру» Печорина, а к тому времени, которое положило на него свою печать.

Наличие скрытой полемики с Мюссе можно, кажется, видеть и в предисловии Лермонтова к роману. Мюссе начинает свой роман с заявления, что «многие страдают тем же недугом», каким страдает он сам, — и роман написан для них: «Впрочем, если даже никто не задумается над моими словами, я все-таки извлеку из них хотя бы ту пользу, что скорее излечусь сам». Итак, Мюссе не только изучает самую болезнь и ее происхождение, но и надеется помочь ее излечению. Лермонтов употребляет ту же терминологию (болезнь, лекарства), но ставит себе иную задачу и как бы с усмешкой отвечает на слова Мюссе: «Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! ⟨...⟩ Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!». При этом автор, тоже в противоположность Мюссе, решительно отрицает, будто он нарисовал в Печорине свой портрет. Наконец, Мюссе пишет целую историческую главу, чтобы найти корень болезни и сделать «дитя века» невиноватым или, во всяком случае, заслуживающим полного отпущения грехов. Лермонтов, при всем своем сочувствии к герою, не идет на это, считая, что «история души» особенно полезна в том случае, если «она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление». Герой романа Мюссе, отделавшись красноречивой исторической главой, погружается в воспоминания о своих любовных делах: Печорин мечется в поисках настоящей жизни, настоящей цели — и то и дело оказывается на краю гибели.

Никаких исторических глав в «Герое нашего времени» нет: есть только намек на то, что «болезнь», сказавшаяся у Печорина в эпизоде с Бэлой, распространена среди молодежи, причем вопрос об этом в самой наивной форме поставлен Максимом Максимычем: «Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста,— продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне,— вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?». В ответе автора, признающего, что «много есть людей, говорящих то же самое» (у Мюссе — «так как многие страдают тем же недугом»),

---

[12] Ср. такие словоупотребления у Лермонтова, как «Наш век блестящий, но ничтожный», «Наш век смешон и жалок» и др.

[13] Ср. в предисловии к драме «Странный человек»: «Справедливо ли описано у меня общество? — Не знаю!».

есть замечательные слова, как будто адресованные прямо автору «Исповеди» и его слишком рисующемуся своим разочарованием герою: «нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок». И затем — гениальная по лаконизму историко-литературная справка: «А всё, чай, французы ввели моду скучать?»,— спрашивает штабс-капитан; «Нет, англичане»,— отвечает автор. В переводе на язык литературы это должно звучать так: «Эту моду ввел Мюссе? — Нет, Байрон». В помощь недогадливому читателю дан комментарий: «Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница». Печорин не из тех, кто «донашивает» свою скуку, как моду, или кокетничает ею; об этом ясно сказано в предисловии к «журналу»: «Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки».

Полемикой с Мюссе и с «французами» вопрос, конечно, не исчерпывается: имя Байрона ведет не только и даже не столько в Англию, сколько в Россию. Недаром московская барыня позволила себе выражаться о нем так, как будто он — завсегдатай московских домов и клубов: она имела на то достаточно оснований, поскольку русский «байронизм» принял в 30-х годах вполне бытовой характер и превратился в моду. Эта русская «хандра» была уже во всей своей неприглядности показана в «Евгении Онегине» — и Пушкин недаром старательно отделял себя от своего героя,

Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт.

Декабристы (Рылеев, Бестужев), а также Веневитинов были недовольны «Евгением Онегиным»: они видели в этом романе отход не только от «байронизма», но и от декабризма — от веры в героику, в силу убеждений, в дворянскую интеллигенцию. Дальнейший путь Пушкина — его уход в мир «маленьких людей» («Повести Белкина»), снижение героической и «демонической» темы до уровня немца Германна в «Пиковой даме» (т. е. почти до ее пародирования) — всё это должно было вызвать со стороны декабристских кругов и среди хранившей декабристские традиции молодежи противодействие и полемику. Лермонтовский Арбенин противостоит Онегину и еще в большей степени — Германну; Печорин задуман как прямое возражение против Онегина, как своего рода апология или

реабилитация «современного человека» [14], страдающего не от душевной пустоты, не от своего «характера», а от невозможности найти действительное применение своим могучим силам, своим бурным страстям.

А. Григорьев очень удачно назвал Печорина «маскированным гвардейцем» — в том смысле, что в нем еще проглядывает Демон: «Едва только еще отделался поэт от мучившего его призрака, едва свел его из туманно-неопределенных областей, где он являлся ему „царем немым и гордым", в общежитейские сферы...» [15]. Но дальше оказывается, что в лице Печорина, в его «фаталистической игре, которою кончается роман», «замаскирован» не только Демон, но и *«люди иной титанической эпохи,* готовые играть жизнью при всяком удобном и неудобном случае» [16]. Что это за «люди титанической эпохи»? Конечно — декабристы, «герои начала века». Яснее А. Григорьев не мог тогда сказать; он только прибавил: «Вот этими-то своими сторонами Печорин не только *был* героем своего времени, но едва ли не один из наших органических типов героического». Литературоведы давно высчитали (как по данным «Княгини Лиговской», так и по «Герою нашего времени»), что Печорин родился около 1808 г. [17], значит, во время декабрьского восстания ему было полных 17 лет — возраст вполне достаточный для того, чтобы мысленно отозваться на это событие, а впоследствии так или иначе, словом или делом, проявить свое отношение к нему. Как видно по вариантам к «Княжне Мери», Лермонтов искал способа как-нибудь намекнуть читателям на то, что появление Печорина на Кавказе было политической ссылкой. Первая запись «журнала», где описываются старания Грушницкого иметь вид «разжалованного», кончалась в рукописи иначе, чем в печати; после слов — «И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну!» следовало: «Но я теперь уверен, что при первом случае она спросит, кто я и почему я здесь на Кавказе. Ей, вероятно, расскажут страшную историю дуэли и особенно ее причину, которая здесь некоторым известа, и тогда... вот у меня будет удивительное средство бесить Грушницкого!». Однако оставить эти слова без разъяснения было невозможно — и Лермонтов вычеркнул весь кусок.

В следующей записи (от 13 мая) доктор Вернер говорит Печорину, что его имя известно княгине: «Кажется, ваша история там ⟨в Петербурге⟩ наделала много шума!». Отметим, что слово «история» служило тогда нередко своего рода шифром: под ним подразумевалось именно политическое

---

[14] Об этом писал Д. Д. Благой в работе «Лермонтов и Пушкин» (сб. Ин-та мировой литературы АН СССР «Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова». М., 1941, стр. 398 и сл.).

[15] «Время», 1862, № 10. Современное обозрение, стр. 2.

[16] Там же, № 11, стр. 51. Курсив наш.— *Б. Э.*

[17] См., например: С. Дурылин. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., 1940, стр. 70—71.

обвинение [18]. Дальше Вернер говорит: «Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях» и т. д., в рукописи было сначала — «о вашей дуэли». Любопытная деталь есть в рукописном тексте «Максима Максимыча» — в том вычеркнутом финале, вместо которого появилось предисловие к «журналу»; автор говорит, что он переменил в записках Печорина только одно: «поставил Печорин вместо его настоящей фамилии, которая ⟨...⟩ вероятно известна». Было, значит, намерение намекнуть читателю на то, что автор записок — лицо достаточно популярное, и популярность эта должна была объясняться, конечно, не каким-нибудь светским скандалом или сплетней, а общественно-политической ролью [19]. В этой связи особое значение имеет и то, что друг Печорина, доктор Вернер — несомненно портрет пятигорского доктора Н. В. Майера, тесно связанного с ссыльными декабристами, с Н. П. Огаревым, Н. М. Сатиным, с самим Лермонтовым [20].

По цензурным причинам Лермонтов не мог сказать яснее о прошлом своего героя, о причинах его появления на Кавказе (для 30-х годов этот край получил почти такое же значение ссылочного района, как Сибирь), о его политических взглядах. Понимающим читателям было достаточно, кроме приведенных намеков, того, что сказано в предисловии к «журналу»: «Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам». Первая среди этих «важных причин» — конечно цензурный запрет. Однако Лермонтов нашел (как нам думается) способ намекнуть читателям на взгляды Печорина. В конце своего «журнала» Печорин вспоминает ночь перед дуэлью с Грушницким: «С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера-Скотта, лежавший у меня на столе: то были „Шотландские Пуритане“. Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом... Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его

---

[18] Ср. в «Странном человеке» Лермонтова вопрос 3-го гостя: «А знаете ли вы *историю* Арбенина?» (V, 215). Политический смысл слова «история» вытекает из сказанных до того слов, что Владимир Арбенин «дерзок и всё, что вы хотите», и что, по мнению дядюшки, он «не заслуживает звания дворянина». Ср. также в рассказе Л. Н. Толстого «Разжалованный» (искаженном цензурой) — о «несчастной, глупой *истории»* (Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 3, М.— Л., 1932, стр. 83), которая, как видно из рукописного варианта (стр. 276), была вовсе не «глупой» и имела политический характер.

[19] Кстати, указание на замену настоящей фамилии автора записок придуманной фамилией «Печорин» подкрепляет гипотезу о намеренной ее соотносительности с фамилией Онегина.

[20] Литературу о Н. В. Майере см. в очень интересной работе Н. И. Бронштейн «Доктор Майер» («Литературное наследство», т. 45—46. М., 1948). Автор, научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, погибла в Пятигорске в 1942 г. во время оккупации.

книга?». Последней фразы в прижизненных изданиях романа нет — очевидно по требованию духовной цензуры (как и страницей выше, в печати отсутствовали слова: «на небесах не более постоянства, чем на земле»). О каких «отрадных минутах» идет речь? Только ли о тех, которые были порождены художественным «вымыслом»?

Надо прежде всего сказать, что Лермонтов думал сначала положить на стол Печорину другой роман В. Скотта — Приключения Нигеля» (вернее — Найджеля), чрезвычайно популярный в России (русский перевод вышел в 1829 г.) [21]. Д. П. Якубович полагал причиной замены то обстоятельство, что в описании Найджеля есть деталь, сходная с описанием Печорина («в его голосе звучала грусть, даже когда он рассказывал что-нибудь веселое, в его меланхолической улыбке был отпечаток несчастья») [22]. Мы думаем, что причина лежит гораздо глубже: «Приключения Найджеля» — чисто авантюрный роман, рассказывающий об удачах и неудачах шотландца в Лондоне, между тем как «Шотландские пуритане» — роман политический, повествующий об ожесточенной борьбе пуритан-вигов против короля и его прислужников. Об этом романе В. Скотта в «Телескопе» в 1831 г. (№ 13) было сказано, что он «имеет всё величие поэмы», что это — «современная Илиада» [23]. Главный герой романа — Генри Мортон, сын погибшего на эшафоте героя, спасает вождя вигов, хотя сам к ним не принадлежит; за укрывательство республиканца он арестован, а затем создается положение, вынуждающее его принять участие в гражданской войне на стороне вигов. Это странное и трудное положение составляет предмет размышлений и страданий Мортона, придавших ему гораздо большее психологическое содержание, чем это свойственно другим героям В. Скотта. Автор сообщает, что обстоятельства сделали его сдержанным и замкнутым, так что никто, кроме самых близких друзей, не подозревал, как велики его способности и как тверд его характер. Он не примыкал ни к одной из партий, разделивших королевство на несколько лагерей, но считать это проявлением ограниченности или безразличия было бы неправильно: «Нейтралитет, которого он так упорно придерживался, коренился в побуждениях совсем иного порядка и, надо сказать, достойных всяческой похвалы. Он завязал знакомство с теми, кто подвергался гонениям за свои взгляды, и его оттолкнули нетерпимость и узость владевшего ими сектант-

---

[21] См. об этом в статье Д. П. Якубовича «„Капитанская дочка" и романы В. Скотта» («Пушкинский Временник», т. 4—5. М.— Л., 1939, стр. 173—174).

[22] Д. П. Якубович. Лермонтов и В. Скотт. «Известия АН СССР, Отделение общественных наук», 1935, № 3, стр. 269.

[23] В английском подлиннике этот роман называется «Old Mortality! («Старый смертный»); заглавие первого русского перевода — «Шотландские пуритане» (1824) — ведет к французскому: «Les Puritains d'Écosse». Отметим, что в статье о «Герое нашего времени» Белинский упоминает об этом романе (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т IV. М., 1954, стр. 204).

ского духа ⟨...⟩ Впрочем душу его еще более возмущали тиранический и давящий всякую свободную мысль образ правления, неограниченный произвол, грубость и распущенность солдатни, бесконечные казни на эшафоте, побоища, учиняемые в открытом поле, размещения войск на постой и прочие утеснения, возлагаемые военными уставами и законами, благодаря которым жизнь свободных людей напоминала жизнь раба где-нибудь в Азии. Осуждая и ту и другую стороны за разного рода крайности и вместе с тем тяготясь злом, помочь которому он не мог, и слыша вокруг себя то стоны угнетенных, то крики ликующих победителей, не вызывавшие в нем никакого сочувствия, Мортон давно уже покинул бы родную Шотландию, если бы его не удерживала привязанность к Эдит Белленден» [24].

В следующей главе Мортон излагает свою политическую позицию: «Я буду сопротивляться любой власти на свете, — говорит он, — которая тиранически попирает мои записанные в хартии права свободного человека; я не позволю, вопреки справедливости, бросить себя в тюрьму или вздернуть, чего доброго, на виселицу, если смогу спастись от этих людей хитростью или силой» [25]. Дело доходит до того, что даже лорд Эвендел, не принадлежащий к партии вигов, должен признаться: «С некоторого времени я начинаю думать, что наши политики и прелаты довели страну до крайнего раздражения, что всяческими насилиями они оттолкнули от правительства не только низшие классы, но и тех, кто, принадлежа к высшим слоям, свободен от сословных предрассудков и кого не связывают придворные интересы» [26].

Вот какие страницы Вальтер-Скоттовского романа могли увлечь Печорина и заставить его даже забыть о дуэли и возможной смерти; вот за что мог он так горячо благодарить автора! Таким способом Лермонтов дал читателю некоторое представление о гражданских взглядах и настроениях Печорина, который сам говорит, что было ему, верно, назначение высокое: «Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений». Накануне дуэли, вызванной «пустыми страстями», Печорин читает политический роман о народном восстании против деспотической власти и «забывается», воображая себя этим Мортоном. Так Лермонтов подтвердил догадливому читателю (по формуле «sapienti sat»), что у Печорина, действительно, было «высокое назначение» и что были ему знакомы другие «страсти» — те, о которых сказано в «Думе»: «Надежды лучшие и голос благородный неверием осмеянных страстей и о которых спрашивает Читатель: «Когда же ⟨...⟩

---

[24] В. Скотт. Пуритане. Перевод А. С. Бобовича, под ред. Б. Г. Реизова. М.—Л., 1950, стр. 157—158.

[25] Там же, стр. 176.

[26] Там же, стр. 278.

мысль обретет язык простой и страсти голос благородный?» («Журналист, Читатель и Писатель»). Кстати, слово «страсти» не сходит со страниц печоринского «журнала», а значение этого слова было в то время и шире и глубже, чем в наше: под ним подразумевались не только личные, но и гражданские чувства, ведущие к борьбе за идеалы, к подвигам. Н. М. Карамзин утверждал в предисловии к «Истории государства российского»: «Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление» и т. д. Декабрист Никита Муравьев отвечал на это в 1818 г.: «Вообще весьма трудно малому числу людей быть выше страстей народов, к коим принадлежат они сами, быть благоразумнее века и удерживать стремление целых обществ. Слабы соображения наши противу естественного хода вещей. ⟨...⟩ Насильственные средства и беззаконны и гибельны, ибо высшая политика и высшая нравственность — одно и то же. К тому же существа, подверженные страстям, вправе ли гнать за оные? Страсти суть необходимая принадлежность человеческого рода и орудия промысла, не постижимого для ограниченного ума нашего. Не ими ли влекутся народы к цели всего человечества?» [27].

3

Всё сказанное подтверждает связь поведения и судьбы Печорина с традициями декабризма — с проблемой личной героики в том трагическом осмыслении, которое было придано ей в 30-х годах. Дело, однако, этим не исчерпывается — и именно потому, что речь идет не о 20-х, а о 30-х годах. Пользуясь выражением Никиты Муравьева, можно сказать, что для исторического понимания фигуры Печорина и всего романа надо выйти из круга политики в узком смысле и вступить в сферу «высшей политики» — в сферу нравственных и социальных идей. А. Григорьев заметил в Печорине не только его родство с „людьми титанической эпохи“, но и еще одну очень важную черту: „Положим или даже не положим, а скажем утвердительно, что нехорошо сочувствовать Печорину, такому, каким он является в романе Лермонтова, но из этого вовсе не следует, чтобы мы должны были „ротитися и клятися“ в том, что мы никогда не сочувствовали натуре Пе-

---

[27] См. публикацию И. Н. Медведевой «Записки Никиты Муравьева» («Литературное наследство», т. 59. М., 1954, стр. 583—584). В трактате де Сталь «О влиянии страстей на счастье людей и народов» (1796 г.) развивалась мысль, что глубокая страсть непременно связывается с революцией: «Люди, одержимые глубокими страстями, люди пламенного характера являются движущими силами истории, носителями исторического прогресса» (Д. Д. Обломиевский. Французский романтизм. М., 1947, стр. 17). Однако жизненный путь таких людей обычно гибелен: «Героика с необходимостью переходит здесь в трагедию».

чорина до той минуты, в которую является он в романе, то есть *стихиям натуры до извращения их»* [28].

Что значат эти слова — или, вернее, эта терминология? Кто вспомнит, что А. Григорьев уже в начале 40-х годов увлекался идеями утопических социалистов и в особенности некоторыми сторонами учения Фурье [29], тот сразу увидит источник такой трактовки Печорина.

Нет никакого сомнения, что в середине 30-х годов и Лермонтов уже знал об учении Фурье, и в частности о его «теории страстей», которая получила в России особенное распространение.

П. В. Анненков вспоминает, что когда он в 1843 г. приехал из Франции в Петербург, то «далеко не покончил все расчеты с Парижем, а, напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдашней интеллектуальной его жизни». Он перечисляет книги, которыми зачитывались «целые фаланги русских людей, обрадованных возможностью выйти из абстрактного отвлеченного мышления без реального содержания ⟨т. е. гегельянства⟩ к такому же абстрактному мышлению, но с кажущимся реальным содержанием». Эти книги служили «предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода» — и среди них Анненков называет «систему Фурье» (очевидно — «Новый мир») как наиболее распространенную и популярную [30]. Начало этому увлечению (как видно и по письмам, и по воспоминаниям, и по журналам — как иностранным, так и русским) восходит к началу 30-х годов, когда особенной популярностью стал пользоваться сенсимонизм. В 1838 г. Герцен писал: «Каждая самобытная эпоха разрабатывает свою субстанцию в художественных произведениях, органически связанных с нею, ею одушевленных, ею признанных» — и прибавил там же: «Великий художник не может быть несовременен. Одной посредственности предоставлено право независимости от духа времени» [31].

Было бы, конечно, очень странно, и даже нелепо, если бы кто-нибудь стал утверждать, что «Герой нашего времени» написан под впечатлением теории страстей Фурье и представляет собою нечто вроде художественной иллюстрации к ней; однако было бы не менее странно, если бы противник взялся доказывать, что творчество Лермонтова (и в частности «Герой нашего времени») никак не соотносится с социально-утопическими идеями тех лет и что Лермонтов их не знал или не придавал им никакого значения. Ведь сами эти идеи рождены эпохой и составляют часть ее исторической действительности, ее «субстанции» — так естественно, что они в том или другом виде должны были отразиться в художественном произведении,

---

[28] «Время», 1862, № 11, Современное обозрение, стр. 73. Курсив наш.— *Б. Э.*

[29] См. примечания Б. Костелянца к произведениям Ап. Григорьева 40-х годов («Комета», «Два эгоизма», «Радин») в кн.: А. Григорьев. Избранные сочинения. Л., 1959.

[30] П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 301—302.

[31] А. И. Герцен. Собрание сочинений, т. I. М., 1954, стр. 326—327.

ставящем коренные вопросы общественной и личной морали. Россия 30-х годов, с ее закрепощенным народом и загнанной в ссылку интеллигенцией, была не менее, чем Франция, благодарной почвой для развития социально-утопических идей и для их распространения именно в художественной литературе, поскольку другие пути были для них закрыты [32].

В 1849 г. арестованный по делу «петрашевцев» Н. Я. Данилевский изложил учение Фурье в виде особой записки. Воспользуемся этим изложением, поскольку в нем мы имеем русский вариант этой системы и поскольку нам в данном случае нужна не столько ее практическая, социально-политическая сторона («фаланстеры»), сколько морально-психологическая.

Человек рожден для счастья — таков исходный пункт рассуждения; самую важную роль в вопросе человеческого счастья играют междучеловеческие отношения. «Для определения законов междучеловеческих отношений имеем мы два источника наблюдений: самого человека и те формы общежития, в которых находим мы его теперь и в которых показывает нам его история. Формы общежития доселе всегда изменялись и по сущности своей могут изменяться еще; природа же человека всегда оставалась постоянной и в своей сущности никак изменяться не может. ⟨...⟩ Следовательно, дабы определить законы гармонического устройства междучеловеческих отношений, должно анализировать природу человека и по требованию ее устроить ту средину ⟨т. е. срѐду⟩, в которой она должна проявляться» [33]. Отсюда — вывод: анализ должен быть направлен прежде и больше всего на «деятельные способности» человека. Под «деятельными способностями» человека (разъясняет далее Н. Я. Данилевский) Фурье понимает «коренные стремления его духа и тела, приводящие в движение все существо его», т. е. *страсти:* «Под именем страстей разумеют Фурье и все последователи его причины человеческой деятельности, а вовсе не те воспламенения, те разрушительные порывы чувства, которые, затемняя рассудок, побуждают человека употреблять все средства к их удовлетворению, — на языке

---

[32] Специального внимания и изучения заслуживает тот факт, что первый французский перевод «Героя нашего времени», сделанный в Париже А. А. Столыпиным (Монго), был напечатан в фурьеристской газете «Démocratie pacifique» (с 29 сентября по 4 ноября 1843 г.), во главе которой стоял В. Консидеран. В интересном сообщении о Столыпине М. Ашукина-Зенгер говорит: «Истинные умонастроения Монго-Столыпина, быть может, навсегда остались бы от нас скрытыми, если бы он не выдал себя с головой, напечатав во время своей поездки в Париж этот перевод в газете „Démocratie pacifique“ на втором месяце ее существования. Выбор Столыпиным этого органа, конечно, не был случайным ⟨...⟩ А. Столыпин приехал в Париж, несомненно, подготовленный к восприятию проповеди „Démocratie pacifique“. Известны фурьеристские настроения лермонтовского круга» («Литературное наследство», т. 45—46. М., 1948, стр. 752 и 754). Фото с первой страницы «Démocratie pacifique», № 60, от 29 сентября, в котором напечатано начало «Героя нашего времени» («Un Héros du siécle, ou les Russes dans le Caucase. 1re partie. Ch. 1re. Béla»), помещено в «Литературном наследстве» (т. 43—44. М., 1941, стр. 159).

[33] «Дело петрашевцев», т. II. М.— Л., 1941, стр. 293.

Фурье это не страсти, а злоупотребление страстей (récurrences passionnelles) ⟨...⟩ Эти дурные чувства являются в человеке или от действительного нарушения его интересов материальных или нравственных, или от чрезмерного развития одной из страстей в ущерб другим».

Данилевский не вполне точно и несколько смягченно излагает ту сторону этой теории страстей, которая имела сугубое значение для литературы 30-х годов: вопрос о «возвращении страстей». Взгляды и проповеди Руссо и его последователей уже не удовлетворяют фурьеристов: дело не в бегстве от цивилизации назад в воображаемый «золотой век», а в борьбе; начинать нужно не с переделки человека, а с переустройства среды. Фурьеристы (Изальгье, Лавердан) считают, что нормальные страсти, составляющие природу человека, не могут быть вовсе задавлены: они возвращаются, но в уродливой, искаженной форме. «Уродливое, дисгармоническое в характере человека, в его поступках, в его поведении (на что обращают такое усиленное внимание романтики типа Гюго, Э. Сю, А. Дюма) и является для фурьеристов результатом этого возвращения, этого возмездия. Оно не коренится в „греховной" природе человека, не связано с его „слабостями", с его „убожеством" и „ничтожностью", как полагает Шатобриан. Уродливое в человеческом характере является для них внешним проявлением нормальных тяготений и стремлений человека, которые, будучи задержаны, заторможены, подавлены случайным и несправедливым расположением людей в классовом обществе, не могут найти себе нормального выхода. Злодеяния, убийства, преступления, всякие разрушительные акты, производимые героями романтических писателей, представляются фурьеристам особой формой бунта, особого рода реакцией на насилие и гнет, которым подвергается личность со стороны неправильно устроенного общества. Фурьеристы признают величайшей заслугой таких писателей, как Гюго, Дюма, Бальзак, Сю, глубокое умение вскрыть и обнаружить „возвращение страстей", эту месть поруганной природы бесчеловечным формам общества» [34]. В итоге фурьеристы реабилитируют страсти и принимают их художественные воплощения даже в самых крайних формах. «Современный театр оправдывает страсть, тогда как старый театр не осуждал,— говорит Изальгье в статье 1836 г.— Некогда публика имела *Bérénice* (Расина), теперь она имеет *Antony* ⟨Дюма⟩. Отныне всякое „возвращение" — печальное или веселое, страшное или шутовское, смешное или кровавое, пред-

[34] Д. Д. Обломиевский. Французский романтизм. М., 1947, стр. 348 (глава «Романтизм и литературная политика фурьеристов»). Сходные в своей основе взгляды высказывались уже в трактате де Сталь «О влиянии страстей»: «Я исследую сначала те страны, где во все времена власть была деспотической. ... и я покажу, какое влияние на людей должно иметь постоянное подавление их естественных побуждений внешней силой, для которой они не могут найти никакого разумного оправдания» (M^me de Staël. Oeuvres complètes. Paris, 1830, t. III, p. 14).

стает перед зрителем как могучая манифестация страсти, ставшей святой и законной»[35].

Такова идейная, смысловая основа многих произведений французской литературы 30-х годов, объединенных прозвищами «Юной Франции» или «неистовой» словесности. В России несомненным и достаточно выразительным памятником этого движения можно считать, в сущности, только «Маскарад» Лермонтова (конечно, без принудительного 4-го акта). Замечательно, что как раз в 1836 г. Изальгье (один из главных критиков в фурьеристском журнале «Phalange») приветствовал романтическую драму за то, что в ней «ни одно действующее лицо не вызывает ни ненависти, ни насмешки» и что рядом с героем нет «обязательного антагониста прежних времен. ⟨...⟩ Человек находится во враждебных отношениях только с социальной средой»[36]. Лермонтовский «Маскарад» написан именно с этим намерением, так что Арбенин, несмотря на совершенное им жестокое преступление, вызывает (или, по замыслу автора, должен вызывать) сострадание едва ли не более сильное (поскольку оно имеет не просто эмоциональный, но и мировоззрительный характер), чем его жертва. Недаром цензура подняла такой вой — даже после того, как Лермонтов, по ее требованию, «прибавил» 4-й акт (с появлением Неизвестного и сумасшествием Арбенина). «Драматические ужасы, наконец, прекратились во Франции,— писал цензор Ольдекоп, верно указывая адрес первоисточника,— так неужели их хотят ввести к нам?»

В «Герое нашего времени» этих «ужасов» нет, но характерно, что Лермонтов поселил Печорина на Кавказе, окружив особой, могучей природой и сделав его, как он сам говорит, «необходимым лицом пятого акта», когда он нужен для развязки «чужих драм». Он — в непрерывном движении, и в каждом новом месте его ждет смертельная опасность. «Я приехал на перекладной тележке поздно ночью»,— рассказывает Печорин в «Тамани». Не прошло и суток, как он чуть не погиб от руки «ундины»: «Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань». Следующая повесть начинается словами: «Вчера я приехал в Пятигорск»; проходит месяц — и Печорин оказывается перед пистолетом Грушницкого. Судьба его сберегает («Пуля оцарапала мне колено»), но письмо Веры заставляет Печорина вскочить на коня и гнать его во весь дух в Пятигорск. После этого он едет в Кисловодск, расстается с Мери — и через час курьерская тройка мчит его из Кисловодска. Далее Печорин — в крепости у Максима Максимыча («Бэла»), откуда он на две недели приезжает в казачью станицу — и чуть не гибнет от пули пьяного казака. А потом — Петербург, а

---

[35] См.: H. J. H u n t. Le Socialisme et le Romantisme en France. Etude de la presse socialiste de 1830 à 1848. Oxford, 1935, стр. 141. В этой книге подробно освещен вопрос об отражении сен-симонизма и фурьеризма во французской литературе.

[36] Цитируется в указанной книге Д. Обломиевского, стр. 354.

потом — «Персия и дальше», а потом смерть — по дороге из Персии [37]. Критика консервативного лагеря имела кое-какие основания удивиться такому беспокойному образу жизни и причислить Печорина к «миру мечтательному» (т. е. утопическому). За всем этим миром сердечных тревог и приключений чувствовались те «страсти», под которыми люди того времени понимали все «деятельные способности» человека. Недаром сам Печорин пришел к убеждению, что «страсти — не что иное, как идеи при первом своем развитии».

Социально-утопические идеи были общеевропейской идеологической основой развернувшегося в художественной литературе XIX в. «психологизма». Дело тут было не в психологическом анализе самом по себе (это занятие — не для искусства, а для науки), а в той новой жизненной задаче, которая родилась в итоге общественных потрясений и военных катастроф. Человек стремится к счастью, т. е. к удовлетворению своих страстей, к «гармонии»: «Отнимем же все вековые предрассудки, страсти существуют в виде врожденных наклонностей, следовательно нужно искать средства не подавить их, что невозможно, но употребить их на благо человека; а для этого разберем предварительно эти врожденные наклонности, страсти, определим и назовем их, одним словом — *анализируем человека»* [38]. Так оказалось, что слова «история души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа» (предисловие к «Журналу Печорина») — боевой лозунг, содержание которого вовсе не ограничивается интимной сферой. Недаром «Герой нашего времени» был сразу воспринят как острый общественно-политический роман.

Особенности русской жизни и истории придали этому художественному направлению сугубо напряженный моральный характер. Со всей силой это сказалось на творчестве Льва Толстого — на той «диалектике души», которую заметил и приветствовал Чернышевский в самых первых его произведениях. Начало этой «диалектики души» (как считал Чернышевский) было положено «Героем нашего времени».

---

[37] Надо отметить, что слова Печорина «Как только будет можно, отправлюсь,— только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию» характерны для последекабристских настроений. Д. В. Веневитинов писал в 1827 г.: «Я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что там я найду силы для жизни и вдохновения» (Д. В. Веневитинов. Полное собрание сочинений. М.— Л., 1934, стр. 344). В драме В. К. Кюхельбекера «Ижорский» герой говорит:

Игралище страстей, людей и рока,
Я счастия в странах роскошного Востока
Искал, в Аравии, в Иране золотом,
Под небом Индии чудесной.

[38] «Дело петрашевцев», т. II, стр 350 (А. П. Беклемишев. О страстях и возможности сделать труд привлекательным).

4

Для осуществления поставленной Лермонтовым художественной задачи необходимо было решить важнейший для всей структуры романа вопрос: как будет показана читателю душевная жизнь («история души») героя — путем самораскрытия («исповедально») или при помощи чужого повествования? Каждая из этих форм (тем более при стремлении Лермонтова к естественным, правдоподобным мотивировкам) имела свои преимущества и свои недостатки. Первая форма, «исповедальная», открывала перед героем широкий простор для самоанализа и самозащиты или самооправдания, для иронии и критики или осуждения других, но замыкала окружающий мир пределами субъективного восприятия и при этом делала неопределенной позицию автора или заставляла смотреть на портрет героя как на его собственный автопортрет. Вторая форма вмещала любой внешний материал, любую «действительность» — кроме «истории души», которая могла бы быть обнаружена (и то очень частично) только при помощи ряда условных и наивных мотивировок (вроде подглядывания, подслушивания и т. д.), ослабляющих убедительность и разрушающих художественную иллюзию. Что касается третьей формы, при которой авторское повествование оказывается вне всяких мотивировок и произносится от лица всезнающего, как бы парящего над созданными им самим персонажами, то она пришла в литературу и укрепилась в ней позднее, когда роман вовсе оторвался от повести и сблизился с драмой, так что повествовательная часть превратилась в своего рода ремарки. Эта форма была для Лермонтова невозможна — тем более, что роман был задуман не в виде сплошного и последовательного повествования, а как цикл повестей. Кто же, в таком случае, будет их рассказчиком или рассказчиками? И как сделать, чтобы читатель получил представление о герое и из его собственных признаний («субъективно») и со стороны («объективно»)?

Такие были или могли быть основные формальные (жанрово-стилистические) проблемы и предпосылки при работе над «Героем нашего времени». Рядом с ними, естественно, возникли проблемы иного рода, уже прямо связанные с сюжетом. Если роман будет составлен из отдельных повестей — значит жизнь героя и история его души будут даны не полно и не последовательно, а фрагментарно; а если так, то нет никакой нужды рассказывать о его прошлом (родители, детство и отрочество, юность и т. п.), как это было сделано, например, в «Княгине Лиговской», и тем более нет никакой необходимости кончать роман смертью героя или трогательным эпилогом, описывающим его благополучную старость в кругу семьи. Необходимо другое: чтобы каждый фрагмент был достаточно содержателен или выразителен, чтобы он открывал в герое те душевные конфликты и противоречия, которые надо показать как «болезни века», как «возвращения» искаженных средою страстей, как подавленную героику. Значит, надо

показать героя в разных ситуациях — не только положительных, но и отрицательных, не только интимных, но и публичных. Иначе говоря, повести, образующие цикл, должны быть разными и по жанрам и по составу действующих лиц.

Для такого «личного» романа, каким был задуман «Герой нашего времени», проблема окружения имела особое значение: никто не должен равняться с героем или оспаривать у него первенство, но у него должны быть враги и хотя бы один друг, а кроме того, конечно, в его жизни и поведении со всей силой должен сказаться «недуг сердца», порывы «пустых страстей», кончающиеся разочарованием или бессмысленной местью. Это было настолько важно и характерно, что чуть ли не каждая повесть цикла должна была содержать какую-нибудь любовную историю.

Однако это еще не всё, что могло быть осознано Лермонтовым заранее как необходимое условие художественной полноты и убедительности задуманного романа. Пушкин мог не бояться, что его Онегин вдруг покажется читателю смешным — перешагнет ту воздушную границу, которая отделяет трагическое от комического. И то у Татьяны промелькнула страшная мысль:

Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?.
Уж не пародия ли он?

Лермонтов имел гораздо больше оснований бояться такого приговора над своим героем, поскольку Печорин должен был играть трудную и рискованную роль «героя нашего времени» с невыполненным «высоким назначением». Как избавить его от страшной опасности оказаться вдруг смешным или ничтожным? Это было особенно возможным и вероятным в конце 30-х годов, когда, по словам А. Григорьева, «Гоголь пел другую поэму, о несостоятельности показного человека, не указывая, впрочем, для души такой положительной замены. Он неумолимо говорил современному человеку: — Ты, мой любезный, вовсе не герой, а только корчишь героя. ⟨...⟩ Ты не Гамлет, ты — Подколесин: ни в себе, ни в окружающей тебя жизни ты не найдешь отзыва на твои представления о героическом, которые иногда в тебе, как пена, поднимаются» [39].

Итак, опасность угрожала Печорину не только со стороны читателя, но и со стороны самой литературы, уже бегущей и от так называемого «байронизма», и от так называемого «романтизма», и от так называемого

[39] «Время», 1862, № 12, стр. 2—3.

«прекраснодушия», и тем более от «героики», да еще подавленной обстоятельствами. Но Лермонтов считал своей исторической обязанностью, или миссией показать русского молодого человека не Хлестаковым и не Подколесиным, а существом сильным, наделенным большими страстями и благородными стремлениями — «чудными обещаниями будущности», как было сказано о Печорине в «Княгине Лиговской». Не только Онегин, но и Чацкий являлся Лермонтову во время работы над «Героем нашего времени»: «В первой молодости моей я был мечтателем»,— говорит Печорин. Пусть теперь он причисляет себя к «жалким потомкам, скитающимся по земле без убеждений и гордости» — само это сознание поднимает его над Онегиными, в языке которых не было и не могло быть слова «убеждение».

Но все-таки — как же спасти Печорина от насмешек и пародий? Грибоедову было легче: время было другое. Достаточно было рядом с Чацким поставить Молчалина, чтобы весь пыл негодования был оправдан; а ведь Печорин говорит, что он «в напрасной борьбе» уже истощил «и жар души и постоянство воли» и что у него нет «ни надежды, ни того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою». Какое же право имеет он презирать других и как может автор рассчитывать на сочувствие к своему герою или даже на его оправдание? Одного монолога в демоническом стиле, произнесенного перед лицом влюбленной девушки («Я был готов любить весь мир — меня никто не понял, и я выучился ненавидеть»), для прозы недостаточно. На помощь пришел Грушницкий: «Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. 〈...〉 Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами,— иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии». И — наконец самое решительное и безошибочное: *«Его цель — сделаться героем романа»*. Хотя это говорит сам герой романа, претендующий на звание «героя нашего времени», но читатель уже побежден: заготовленные им шутки и насмешки обрушиваются на голову нового персонажа, который специально для этого и создан. Удары отведены от героя на его alter ego, на его отражение в кривом зеркале.

Если по одну сторону Печорина надо было поставить Грушницкого (как пародию), то по другую необходимо было поставить (всё для той же цели) человека с умной иронией, чтобы отнять у читателя или критика право и па эту возможность. Никто не может упрекнуть автора в преклонении перед своим героем после того, как в романе появился доктор Вернер, недаром прозванный среди пятигорской молодежи Мефистофелем. Если рядом с Грушницким Печорин может показаться замаскированным в гвардейца Демоном, то рядом с Вернером он — нечто вроде Фауста, и почти цитатой из Гёте звучат его слова после свидания с Верой: «Уж не моло-

дость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять 〈...〉? А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит...».

Этих двух лиц — Грушницкого и Вернера — вполне достаточно для обрисовки Печорина в пределах его «журнала», но ведь он должен быть дан не только субъективно. Одно из основных принципиальных отличий нового романа от прежних должно было заключаться в объективной подаче героя — объективной не только в том смысле, что это не будет сплошной «исповедью» (как у Мюссе) или сплошным мемуаром (как, скажем, «Адольф» Констана), но и в том, что в этом романе не будет того условного автора-рассказчика, который, неизвестно почему, знает каждый шаг и даже каждую мысль своего героя. В новом романе дело должно быть поставлено так, чтобы сам автор узнал о существовании своего героя из чужих уст,— положение на первый взгляд очень острое и парадоксальное, но могущее стать вполне правдоподобным для читателя и весьма удобным для писателя при условии удачной мотивировки. Так в роли рассказчика появился Максим Максимыч, а первой повестью, открывающей роман, стала «Бэла», представляющая собой сочетание двух разных, взаимно тормозящих действие жанров, из которых один служит мотивировкой для другого.

Надо было иметь большую смелость, чтобы в 1838 г. написать повесть, действие которой происходит на Кавказе, да еще с подзаголовком: «Из записок офицера о Кавказе». Не один читатель (а тем более критик), увидев это, должен был воскликнуть: «Ох уж эти мне офицеры и этот Кавказ!». Не говоря о потоке кавказских поэм, затопившем литературу, кавказские очерки, «вечера на кавказских водах», кавказские повести и романы стали в 30-х годах общим местом. В первом томе своего «Современника» (1836 г.) Пушкин как бы подвел итог всей литературе о Кавказе, напечатав, с одной стороны, свое «Путешествие в Арзрум», порывающее с традицией живописно-риторических описаний этого края, а с другой — поместив тут же очерк Султана Казы-Гирея («Долина Ажитугай»), написанный достаточно пышным слогом, который, однако, оправдан происхождением и биографией автора. Сам автор говорит: «Думал ли я десять лет тому назад видеть на этом месте русское укрепление и иметь ночлег у людей, которым я грозил враждою, бывши еще дитятею? Все воинские приемы, к которым я приноравливался во время скачек на этом поле, всегда были примером нападения на русских, а теперь я сам стою на нем русским офицером». Взволнованность и приподнятость стиля вполне мотивировались этим своеобразным положением автора — и Пушкин со всей деликатностью отметил это в специальном примечании, как будто отвечая на недоумение читателей: «Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется

на русском языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в предлагаемом отрывке».

И вот после всего этого появляется повесть «Бэла», да еще с подзаголовком «Из записок офицера о Кавказе» [40]. Надо, однако, сказать, что «„Путешествие в Арзрум" и послужило, по-видимому, для Лермонтова главным толчком к тому, чтобы, во-первых, навсегда проститься с прежним повествовательным стилем и, во-вторых, создать „гибридный" жанр путевого очерка с вставной драматической новеллой» [41]. Вернее — наоборот: Лермонтов скрестил «драматическую» (авантюрную) новеллу с путевым очерком и таким способом не только раздвинул и затормозил сюжет, создав для этого совершенно «естественную» и остроумную мотивировку («я пишу не повесть, а путевые записки»), но и нашел новое применение для кавказского путевого очерка, казалось бы окончательно «закрытого» Пушкиным (характерный для Лермонтова ход). В «Бэле» путевой очерк потерял свое прежнее самостоятельное значение, но возродился как материал для построения сюжета и освежения жанра — факт большого художественного смысла.

Рассказ начат как будто по старинке: автор едет как бы навстречу Пушкину — не из Ставрополя в Тифлис, а из Тифлиса к Ставрополю. Они могли бы встретиться на Крестовой горе или на станции Коби. «Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход,— рассказывает Пушкин.— Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей или послать за осетинскими волами? ⟨...⟩ На другой день около 12 часов услышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное: осьмнадцать пар тощих, малорослых волов, понуждаемых толпою полунагих осетинцев, насилу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О**». Автор «Бэлы» рассказывает о том же самом — с таким видом, как будто никакого «Путешествия в Арзрум» в литературе не появлялось: «Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, а эта гора имеет около двух верст длины. Нечего делать, я нанял шесть

---

[40] Есть один признак, указывающий на то, что «Бэла» была написана не раньше начала 1838 г. В «Сыне отечества» (1838, № 1, отдел «Критика») напечатан очерк П. Бестужева, где читаем: «Если г. Гамба перекрестил *Крестовую гору* в Mont St. Cristophe ⟨в журнале Cristos — очевидная ошибка⟩, то русскому путешественнику стыдно не знать, что Петр I никогда не проходил через Кавказские горы и потому не мог поставить креста на Крестовой горе, как утверждает г. путешественник» и т. д. (стр. 13). Надо думать, что Лермонтов отметил в «Бэле» оба эти факта уже по следам Бестужева. О принадлежности очерка не А. Бестужеву-Марлинскому (как он подписан в журнале), а его брату Павлу см.: «Воспоминания Бестужевых». Редакция, статья и комментарии М. К. Азадовского. М.— Л., 1951, стр. 700.

[41] В. Виноградов. Стиль прозы Лермонтова. «Литературное наследство», т. 43—44. М., 1941, стр. 573.

быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком». Дальше у Пушкина — вершина Крестовой горы с «гранитным крестом» («старый памятник, обновленный г. Ермоловым») и вид на Койшаурскую долину: «С высоты Гуд-Горы открывается Койшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, и всё это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога». И опять автор «Бэлы» пишет так, как будто он не читал пушкинского «Путешествия»: «И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; ⟨...⟩ направо и налево гребни гор, один выше другого, ⟨...⟩ пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки», а затем — и «каменный крест», поставленный «по приказанию г. Ермолова» на вершине Крестовой горы.

И это еще не всё. В «Максиме Максимыче» автор рассказывает, как он остановился во Владикавказе: «Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня, ибо „оказия“ из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. ⟨...⟩ А вы, может быть, не знаете, что такое „оказия“? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград». У Пушкина читаем в самом начале «Путешествия» (поскольку он ехал в обратном Лермонтову направлении): «На другой день мы отправились далее и прибыли в Екатериноград, бывший некогда наместническим городом. С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю и проезжие к ней присоединяются: это называется *оказией*». Здесь сходство становится настолько разительным, почти цитатным, что в вопросе «А вы, может быть, не знаете, что такое „оказия“?» слышится другой вопрос: «Помните ли вы „Путешествие в Арзрум“ Пушкина?». Это впечатление усиливается неожиданностью и немотивированностью самой вопросительной формы: кто этот «вы» и почему рассказчик, вдруг нарушив повествовательный тон, решил к нему, т. е. к читателю вообще, обратиться с таким вопросом?

Чтобы понять эту особенность исторически и литературно, надо учесть три факта: 1) «Путешествие в Арзрум», напечатанное Пушкиным в ответ на грубую брань и доносы реакционных журналистов, было встречено как политическая ошибка и демонстративно обойдено молчанием [42]; 2) Лер-

[42] Белинский в рецензии на первый том «Современника» ограничился несколькими словами о «Путешествии в Арзрум» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. II. М., 1953, стр. 180), в которых, как нам кажется, отразилась сложность положения: «Статья Пушкина не заключает в себе ничего такого, что бы вы, прочтя

монтов только что вернулся из ссылки за стихотворение на смерть Пушкина и упомянуть в тексте «Бэлы» о его «Путешествии в Арзрум», навлекшем на себя высочайшее недовольство, было невозможно; 3) автор «Бэлы», как видно из дальнейшего,— писатель, и тем более странным могло показаться умолчание о «Путешествии в Арзрум» при таком совпадении деталей. Конечно, в художественном произведении не принято делать сноски, но делать цитаты или упоминать чужие произведения издавна вполне принято — и Лермонтов, например, цитирует в «Княжне Мери» стихи Пушкина, напоминает о «воспетом некогда Пушкиным» Каверине, а кроме того цитирует «Горе от ума» Грибоедова, вспоминает «Гётеву Миньону», «Робинзона Крузое» Дефо, «Освобожденный Иерусалим» Тасса. В одном месте (и как раз в том месте «Бэлы», где речь идет о Гуд-Горе и проч.) он даже упоминает об «ученом Гамба», авторе «Путешествия» по Кавказу — так чтó бы стоило ему помянуть здесь своего великого, так недавно и так трагически погибшего учителя, произведение которого (в этом не может быть никакого сомнения!) учтено и отражено в «Бэле» и «Максиме Максимыче»?

Если бы Лермонтов писал «Путешествие по Военно-Грузинской дороге», не сказать о «Путешествии в Арзрум» было бы просто невозможно; в данном случае критика могла пройти мимо этого факта не только потому, что «Путешествие в Арзрум» (а отчасти и имя Пушкина) было почти запретным, но и потому, что описание Военно-Грузинской дороги в «Бэле» лишено самостоятельной, очерковой функции и воспринимается либо как общий фон, либо как элемент сюжета («торможение»), либо, наконец, как лирическое отступление, характеризующее душевное состояние автора «Бэлы». При таком положении сходство этого описания с «Путешествием в Арзрум» могло остаться незамеченным или не вызвать удивления просто потому, что оно производило впечатление «общего места», ничем особенно не отличающегося, скажем, от «Путешествия в Арзрум». Однако в своем первом отзыве о «Бэле» («Московский наблюдатель», 1839, № 4) Белинский выразился так, что в его словах можно видеть намек на пушкинское «Путешествие»: «Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и отношениях к ним наших войск мы готовы читать, потому что такие рассказы знакомят с предметом, а не клевещут на него» [43]. Обращает на себя внимание, во-первых, множественное число: «такие рассказы»; во-вторых (и это главное), в «Бэле», в сущности, нет ни слова об отношениях наших войск к

ее, могли пересказать, что бы вас особенно поразило, но ее нельзя читать без увлечения, нельзя не дочитать до конца, если начнешь». Что-то мало похожа на Белинского эта странная, бессодержательная и нескладная оценка! Напомним, что «Путешествие в Арзрум» не вошло ни в посмертное собрание сочинений Пушкина (1838—1841 гг.), ни в издание под ред. П. В. Анненкова (1855—1857 гг.).

[43] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 188.

диким горцам, между тем как у Пушкина в первой главе есть страницы, специально этому посвященные.

Из всего сказанного о сходстве лермонтовских описаний Военно-Грузинской дороги с первой главой «Путешествия в Арзрум» можно и надо сделать один существенный историко-литературный вывод: эти страницы «Бэлы» и «Максима Максимыча» написаны Лермонтовым так, чтобы они вспоминали о «Путешествии в Арзрум»,— как дань памяти великого писателя. Прибавим, что «Путешествие в Арзрум», по-видимому, сыграло в творчестве Лермонтова особенно значительную роль, открыв новые стилистические (повествовательные) перспективы для русской прозы. Тем самым мы совершенно не можем согласиться с традиционным толкованием, согласно которому Лермонтов «уличает» Пушкина в недостаточной точности изображения и «с беспощадным реализмом разоблачает иронический гиперболизм пушкинского стиля, прикрывающий незнание функциональной семантики быта» [44]. И всё это — только потому, что у Пушкина коляску О** везут «осьмнадцать пар волов» (а бричку графа Мусина-Пушкина — даже «целое стадо волов»), между тем как у Лермонтова — всего шесть быков (а тележку Максима Максимыча тащит только четверка). Так ведь Максим Максимович недаром и говорит: «Ужасные бестии эти азиаты! ⟨...⟩. Быки-то их понимают: запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по своему, быки всё ни с места». Это же сказано не для разоблачения «пушкинского гиперболизма», а как раз наоборот — как будто специально для того, чтобы объяснить эту арифметическую разницу: одно дело — господа штатские графы (кого же и надувать, как не их!), а совсем другое — местные военные «кавказцы» вроде Максима Максимыча.

5

История Бэлы рассказана Максимом Максимычем, но только после того, как его спутник решил «вытянуть из него какую-нибудь историйку»; притом он рассказал ее в три приема (да еще со вставками больших монологов — Казбича и Печорина): 1) от начала («Вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой»), кончая словами: «Мы сели верхом и ускакали домой»; 2) от слов «Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать», кончая «Да, они были счастливы!» (и добавление о гибели отца Бэлы) и 3) от слов: «Ведь вы угадали» до последнего абзаца («В Коби мы расстались с Максимом Максимычем»). Большое вступление заполнено рассказом автора о знакомстве с Максимом Максимычем и об их совместной ночевке в сакле по дороге на Гуд-Гору. Большая пауза между второй и третьей частью «историйки» заполнена описанием подъема на Гуд-Гору с видом Койшаурской долины,

[44] В. Виноградов. Указ. соч., стр. 580.

спуска с Гуд-Горы, подъема на Крестовую гору, спуска с нее и, наконец, новой ночевкой в сакле на станции Коби. Ко всему этому надо добавить, что действительным рассказчиком или автором истории Бэлы является не Максим Максимыч, а «ехавший на перекладных из Тифлиса» писатель, поскольку он, по его же словам, воспользовавшись задержкой во Владикавказе, «вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, но воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей». Вот какой сложной оказывается при близком рассмотрении конструкция, кажущаяся при чтении столь естественной и легкой.

Благодаря такой конструкции и искусству, с которым она сделана, жанр вещи освежается, а сюжет обогащается новыми смысловыми оттенками. Белинский был совершенно прав, когда откровенно высказал свое удивление (эта способность к удивлению составляет одно из его замечательных достоинств как критика): «Да и в чем содержание повести? Русский офицер похитил черкешенку, сперва сильно любил ее, но скоро охладел к ней; потом черкес увез было ее, но, видя себя почти пойманным, бросил ее, нанесши ей рану, от которой она умерла: вот и всё тут. Не говоря о том, что тут очень немного, тут еще нет и ничего ни поэтического, ни занимательного, а всё обыкновенно, до пошлости истерто»[45]. Ответ Белинского неясен и слишком отвлеченен: «Художественное создание должно быть вполне готово в душе художника прежде, нежели он возьмется за перо ⟨...⟩ Он должен сперва видеть перед собою лица, из взаимных отношений которых образуется его драма или повесть. Он не обдумывает, не расчисляет, не теряется в соображениях: всё выходит у него само собою и выходит, как должно». Это, конечно, просто неверно — и притом никак не отвечает на поставленный вопрос. Художник, конечно, очень «обдумывает» и очень «расчисляет», и часто приходит в отчаяние, и еще чаще вычеркивает то, что написал, и пишет заново — всё это для того, чтобы добиться от слов и их сочетаний новых, не стертых, не ходячих значений и смыслов. В стихах этому содействуют ритм и связанные с ним семантические воздействия на слово; в прозе (особенно в романе) это достигается не столько стилистической, сколько сюжетно-конструктивной разработкой фабульных схем, сцеплением разных сцен и эпизодов, созданием содержательных и свежих мотивировок.

В «Бэле» это сделано с удивительным мастерством. История черкешенки рассказана человеком, который и по своему положению, и по характеру, и по привычкам, и по возрасту мог быть только наблюдателем, но близко принимающим к сердцу всё происходящее. Он даже несколько «завидовал» Печорину («Мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила») — и этим достаточно мотивирована лирическая окраска всего его рассказа. Если же его речь (как отмечали многие, начи-

---

[45] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 218.

ная с юного Чернышевского[46]) не всегда удерживается в рамках «штабс-капитанской» лексики, то ведь достаточной мотивировкой для этого «противоречия» служит то, что весь рассказ Максима Максимыча дан в «записи» автора, в задачу которого вовсе не входила точная передача его лексики. Всё дело в том, что Лермонтову надо было, с одной стороны, сохранить тональную разницу двух рассказчиков, а с другой — создать единство авторского повествовательного стиля, не дробя его на отдельные языки: «едущего на перекладных» писателя, старого штабс-капитана, разбойника Казбича, мальчишки Азамата, Бэлы и самого Печорина (слова которого, по выражению Максима Максимыча, «врезались» у него в памяти). Эта задача решена тем, что в речи каждого из перечисленных лиц есть индивидуальные языковые «сигналы», дающие ей необходимую тональную или тембровую окраску, а вещь в целом все-таки звучит как произведение *одного* автора — того самого, который «вытянул историйку» из Максима Максимыча и потом «записал» ее. Таким образом, «обыкновенная до пошлости» история о похищенной русским офицером черкешенке пропущена через призму с несколькими гранями, благодаря чему она доходит до читателя в виде многоцветного смыслового спектра.

Кроме этой сложной повествовательной структуры, придающей словам новые смысловые оттенки, рассказ о Бэле, как мы уже отмечали, представляет собою сложную сюжетно-жанровую структуру, при которой авантюрная новелла оказывается входящей в «путешествие», и наоборот — «путешествие» входит в новеллу как тормозящий ее изложение элемент, делающий ее построение *ступенчатым.* Сделано это при помощи самых простых и естественных мотивировок, так что получается впечатление, будто рассказ течет «собственною силою, без помощи автора»[47]. Только в одном месте Лермонтов решил разрушить эту иллюзию и дать читателю почувствовать силу самого искусства. «Да, они были счастливы!» — говорит Максим Максимыч. «Как это скучно!» — цинично восклицает (несомненно, вместе с читателем) его слушатель. Идет подробное, медленное описание подъема на Гуд-Гору и спуска с нее, сделанное на основе читательского нетерпения и потому заставляющее с надеждой всматриваться в каждую деталь (а это-то и нужно писателю!), пока, наконец, терпение не истощается — и в этот момент «ложной коды» с полуфинальным афоризмом («И если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтобы о ней так много заботиться»), в момент сюжетного затишья раздается внезапный, оглушительный вопрос: «Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы?». Кто задает этот вопрос и к кому он обращен? Может быть — это Максим Максимыч спрашивает своего слушателя? Нет, это сам автор подал голос своему читателю,

---

[46] Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. I. М., 1939, стр. 59.
[47] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 220.

с которым до сих пор не вел никаких разговоров, и ему же адресован несколько игривый ответ: «Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки: следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую». В сущности, это почти то же, что у Бестужева в «Испытании», но с той разницей, что там это торможение подано в чистом виде и потому лишено жанрового значения, а здесь оно выступает в гораздо более серьезной функции — как результат «гибридности», которая придает всему сюжету новую смысловую и эмоциональную окраску.

Именно здесь, среди этой длительной «географической» паузы, автор «Бэлы» говорит одну многозначительную фразу, бросающую некоторый дополнительный свет на его личность и тем самым на весь роман. Спуск с Крестовой горы был труден: «Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. „И ты, изгнанница,— думал я,— плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки"». Что значат слова: «И ты, изгнанница»? Кто же еще здесь изгнанник, плачущий о северных степях? Очевидно — сам автор «Бэлы», который скоро (в апреле 1840 г.) повторит это, обращаясь к тучам: «Мчитесь вы, будто как я же, *изгнанники*». Итак, «едущий на перекладных из Тифлиса» писатель — вовсе не «странствующий офицер», как принято его называть в работах о «Герое нашего времени», а высланный, и едет он, по-видимому, не в Петербург, а всего-навсего в Ставрополь, как и Максим Максимыч («Мы с вами попутчики, кажется?»). А заодно и еще вопрос: офицер ли он? Раньше это было ясно, поскольку в подзаголовке к «Бэле» стояло: «Из записок офицера о Кавказе»; но затем подзаголовок был снят, а в текстах «Бэлы» и «Максима Максимыча» нет ни одного прямого указания или признака в пользу этого. Максим Максимыч говорит о себе точно и ясно: «Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?» Автор пишет: «Я сказал ему» — и всё. Осетины обступили автора и требовали на водку; из слов Максима Максимыча следует, что они твердили: «офицер, дай на водку», но он же говорит: «и хлеба по-русски назвать не умеет» — значит, слово «офицер» они употребляют во всех случаях. Один из извозчиков, оказавшийся русским ярославским мужиком, обращаясь к автору, называет его просто «барином» («И, барин! бог даст, не хуже их доедем»). В диалогах автора с Максимом Максимычем нет ничего специфически военного — наоборот: на вопрос автора — «Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам?» — штабс-капитан отвечает так, как будто с ним беседует штатский: «Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть», на что следует тоже

достаточно типичная для штатского реплика: «Я слышал, напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна».

Всё это совсем не значит, что «едущий на перекладных из Тифлиса» — на самом деле не офицер, но это значит, что его «офицерство» оказалось фактически ненужным для сюжета, а временами даже как будто мешающим ему, т. е. характеру отношений и разговоров между штабс-капитаном и его спутником. Нужным и важным оказалась не военная его профессия, а писательская: именно она внесена и крепко впаяна в самый текст и «Бэлы» и «Максима Максимыча». Очень знаменательно, что предисловие к «Журналу Печорина», написанное от лица того же «офицера», не содержит в себе ни одного намека на его военное звание и ни малейшего подходящего признака, а его связь с литературой обнаруживается почти в каждой фразе. Чем же объяснить всё это? Думается, что объяснение нужно искать в мотивировочной сфере романа. Необходимо было сделать основного рассказчика «Бэлы» и «Максима Максимыча» литератором и так же необходимо было, по характеру самого замысла, поместить этого литератора на Кавказе и сделать его спутником штабс-капитана. Военная профессия была самой простой и правдоподобной для того времени мотивировкой этой второй «необходимости», между тем как появление на Кавказе штатского литератора и его быстрое сближение с Максимом Максимычем потребовали бы специальной и довольно подробной биографической мотивировки, в художественном смысле лишней и противоречащей лаконизму повествования.

Ко всему, что было сказано о писательской профессии рассказчика «Бэлы» и «Максима Максимыча», надо еще прибавить, что эта профессия очень пригодилась для решения одной из важнейших задач романа: где-то надо было нарисовать портрет героя — тем более «героя нашего времени». Из традиционной и, в сущности, не всегда нужной обязанности задача эта в данном случае приобрела новый и важный идейный смысл, поскольку история, рассказанная в «Бэле», возбуждает чрезвычайный интерес к Печорину как к личности в целом — одно из крупнейших художественных достижений Лермонтова. Мало того: для портрета героя найдена блестящая по остроумию и правдоподобию (а следовательно — и по убедительности) мотивировка — тем, что «едущий на перекладных» литератор, только что выслушавший историю Бэлы, сталкивается лицом к лицу с самим Печориным. Естественно, что он пристально всматривается в каждую черту, следит за каждым движением этого «странного» (по словам штабс-капитана) человека. И вот рисуется портрет, в основу которого положено новое представление о связи внешности человека с его характером и психикой вообще — представление, в котором слышны отголоски новых философских и естественнонаучных теорий, послуживших опорой для раннего материализма (в этом смысле очень симпатична фигура доктора Вернера). Лермонтов определяет психику Печорина на

основании его рук, походки, морщин, цвета волос в соотношении с цветом усов и бровей. Естественно-материалистическая основа этого портрета демонстративно подчеркнута сравнением последней детали с признаками породы у белой лошади. Несомненно влияние этого замечательного (по своему методу) портрета на один из первых портретных опытов Льва Толстого. В черновой редакции «Детства» Толстой набросал портрет матери и сопроводил его следующим теоретическим комментарием: «Я нахожу, что то, что называют выражением, не столько заметно в лице, сколько в сложении. Например, я всё называю аристократическим сложением, не нежность и сухость рук и ног, но всё: линии рук, bras, плеч, спины, шеи. ⟨...⟩ Я отличаю по сложению людей добрых, злых, хитрых, откровенных и особенно людей понимающих и не понимающих вещи» [48].

Итак, «Бэла» и «Максим Максимыч» дают полную экспозицию героя: от общего плана («Бэла») сделан переход к крупному — теперь пора перейти к психологическй разработке. После «Бэлы» Печорин остается загадочным; критический тон штабс-капитана («Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?») не ослабляет, а наоборот — усиливает эту загадочность, внося в его портрет черты несколько вульгарного демонизма. «Тамань» вмонтирована в роман (хотя по своему происхождению, как мы уже говорили, была написана, по-видимому, вне прямой связи с ним) как психологическое и сюжетное «противоядие» тому, что получилось в итоге «Бэлы» и «Максима Максимыча». В «Тамани» снимается налет наивного «руссоизма», который может почудиться читателю в «Бэле». Правда, уже в «Бэле» Печорин приходит к выводу, что «любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни» («Невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой»), но это можно отнести как раз за счет «демонизма»; в «Тамани» герой, погнавшийся было опять [49] за «любовью дикарки», терпит полное фиаско и оказывается на краю гибели. «Ундина» оказывается подругой контрабандиста — и этот мир своеобразных хищников не имеет ничего общего с руссоистскими идиллиями «естественного человека».

В. Виноградов сделал интересное и плодотворное сопоставление «Тамани» с «Ундиной» Жуковского и пришел к выводу, что эта повесть Лермонтова — реалистически перелицованная повесть о «деве на скале» [50]. К этому надо прибавить, что «разоблачению» подвергся в ней не только старый романтический сюжет, но и сам Печорин. Как мы уже говорили, в рукописной (и журнальной) редакции его поведение в Тамани было в значитель-

---

[48] Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. I. М.—Л., 1928, стр. 105.

[49] Это «опять» относится к порядку чтения; хронологически события, рассказанные в «Тамани», предшествуют «Бэле»; однако при таком расположении фактов поведение Печорина в «Бэле» было бы гораздо менее убедительным.

[50] См.: В. Виноградов. Указ. соч., стр. 594—597.

ной степени оправдано «любопытством» литератора, собирающего материал; снятие этой мотивировки сильно ухудшило его положение и придало заключительной фразе «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих» оттенок пошловатого дендизма. Лермонтов, как мы видели, колебался в отношении этого финала. Последний текст (в отдельном издании) рисует Печорина раздраженным, поскольку новая «дикарка», в противоположность Бэле, просто одурачила его. Он впадает в «демонизм», но уже совершенно неубедительный,— и Лермонтову было важно вставить «Тамань» именно для того, чтобы внести в понятие «героя нашего времени» черту иронии.

Совершенно естественно, что после такого фиаско Печорин оставляет мир «дикарок» и возвращается в гораздо более привычный и безопасный для него мир «знатных» барышень и барынь. Так совершается переход от «Тамани» к «Княжне Мери». Эта вещь была выше уже достаточно проанализирована с точки зрения ее значения и смысла в романе. Здесь линия Печорина («кривая» его поведения), опустившаяся в «Тамани», поднимается, поскольку читатель знакомится уже не только с поступками Печорина, но и с его думами, стремлениями, жалобами — и всё это заканчивается многозначительным «стихотворением в прозе», смысл которого выходит далеко за пределы мелкой возни с княжной Мери и с Грушницким: «Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце»... Однако больших битв и бурь ему не дождаться,— и самое большее — что он опять, как это было уже не раз, окажется на краю гибели — и не погибнет.

Так мы переходим к «Фаталисту» — рассказу, который в книге о Лермонтове мог бы быть предметом особого исследования. Как за портретом Печорина стоит целая естественнонаучная и философская теория, так за «Фаталистом» скрывается большое философско-историческое течение, связанное с проблемой исторической «закономерности», «необходимости», или, как тогда часто выражались, «судьбы», «провидения». Это была одна из острейших декабристских тем (см. у Рылеева, А. Бестужева, Н. Муравьева и др.), научным обоснованием которой служили работы французских историков — О. Тьерри, Баранта, Тьера [51]. А. Бестужев, например, противопоставляя «Историю русского народа» Н. Полевого труду Карамзина писал: «Напутствуемый Барантом, Тьерри, Нибуром, Савиньи, он дорывался смыслу не в словах, а в событиях; решал не по замыслам, а по следствиям; словом, подарил нас начатками истории, достойной своего века» [52].

---

[51] См. об этом в кн.: Б. Г. Реизов. Французская романтическая историография, Л., 1955, ср. также С. С. Волк. Исторические взгляды декабристов. М.— Л., 1957 (особенно стр. 136—142).

[52] А. Марлинский. Полное собрание сочинений, т. XI. СПб., 1838, стр. 322.

Лермонтов, конечно, знал сочинения и взгляды этих французских историков и, главное, понимал всю серьезность и всё значение этих взглядов не только для исторической науки, но и для жизни, для ежедневного решения самых основных вопросов поведения и борьбы. Достаточно вспомнить, какое важное место отведено теме «судьбы» и «рока» в лирике Лермонтова, в его поэмах (вплоть до «Мцыри», написанного одновременно с окончанием «Героя нашего времени») и драмах («Маскарад»).

Не удивительно поэтому, что вопрос о «судьбе» или «предопределении» оказался темой заключительной повести; удивительно или, вернее, замечательно то, как обошелся Лермонтов с этой философской темой, сделав ее сюжетом художественного произведения. Не отвергая значения самой проблемы, он берет ее не в теоретическом («метафизическом») разрезе, а в психологическом — как факт душевной жизни и поведения человека — и делает совершенно неожиданный для «теоретика», но абсолютно убедительный практический (психологический) вывод: «Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера; напротив, что до меня касается, то я *всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает*. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!» Фатализм здесь повернут своей противоположностью: если «предопределение» (хотя бы в форме исторической закономерности) действительно существует, то сознание этого должно делать поведение человека тем более активным и смелым[53]. Вопрос о «фатализме» этим не решается, но обнаруживается та сторона этого мировоззрения, которая приводит не к «примирению с действительностью», а к «решительности характера» — к действию. Таким истинно художественным поворотом философской темы Лермонтов избавил свою заключительную повесть от дурной тенденциозности, а свой роман — от дурного или мрачного финала.

Повесть «Фаталист» играет роль эпилога, хотя (как это было и с «Таманью») в порядке событий рассказанное здесь происшествие вовсе не последнее: встреча с Максимом Максимычем и отъезд Печорина в Персию происходят гораздо позднее. Эпилогом в этом смысле пришлось бы считать предисловие к «Журналу Печорина», поскольку там сообщено о смерти героя и подведены некоторые итоги его жизни. Однако такова сила и таково торжество искусства над логикой фактов — или иначе: торжество сюжетосложения над фабулой. О смерти героя сообщено в середине рома-

---

[53] Очень близко к этому поставлен вопрос и в «Войне и мире» Льва Толстого: «В чем состоит фатализм восточных?— рассуждает он в черновой редакции эпилога.— Не в признании закона необходимости, но в рассуждении о том, что если всё предопределено, то и жизнь моя предопределена свыше и я не должен действовать ⟨...⟩ Наше воззрение не только не исключает нашу свободу, но непоколебимо устанавливает существование ее, основанное не на разуме, но на непосредственном сознании» (Л. Н. Т о л с т о й. Полное собрание сочинений, т. 15. М., 1955, стр. 238—239).

на в виде простой биографической справки, без всяких подробностей и с ошеломляющим своей неожиданностью переходом: «Это известие меня очень обрадовало». Такое решение не только освободило автора от необходимости кончать роман гибелью героя, но дало ему право и возможность закончить его мажорной интонацией: Печорин не только спасся от гибели, но и совершил (впервые на протяжении романа) общеполезный и смелый посупок, притом не связанный ни с какими «пустыми страстями»; тема любви в «Фаталисте» выключена вовсе. Благодаря своеобразной «двойной» композиции (об этом говорилось раньше) и фрагментарной структуре романа герой в художественном (сюжетном) смысле не погибает: роман заканчивается перспективой в будущее — выходом героя из трагического состояния бездейственной обреченности («я смелее иду вперед»). Вместо траурного марша звучат поздравления офицеров с победой над смертью — «и точно, было с чем», признается сам герой. Заключительный мирный разговор Печорина с Максимом Максимычем вносит в финал романа ещё и ироническую улыбку: «фаталистом» оказывается вдруг не столько Печорин, сколько Максим Максимыч («видно уж так у него на роду было написано»), но без любви к «метафизическим прениям». Тем самым к концу романа они до некоторой степени, хотя и с противоположных сторон, сошлись во взглядах на жизнь: ведь Печорин тоже не любит «останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли».

Во втором отдельном издании «Героя нашего времени» (1841 г.) появилось особое предисловие автора — ответ Лермонтова на критические статьи, в которых Печорин рассматривался как явление порочное, навеянное влиянием Запада, не свойственное русской жизни. В истории русского романа эти статьи (С. Шевырева, С. Бурачка) не сыграли никакой роли, поэтому и останавливаться на них здесь не имеет смысла. В самом же предисловии Лермонтова очень важны слова о том, что публика «не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения» и что его роман испытал на себе «несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналистов к буквальному значению слов». Это явный намек на то, что в романе есть какой-то второй, не высказанный прямо или недоговоренный смысл. Надо полагать, что этот второй смысл, ощущаемый на всем протяжении романа, начиная с его заглавия, заключается в его общественно-исторической теме — в трагедии русской дворянской интеллигенции последекабристского периода. Лермонтов мог только намекать на это; вполне понять эти намеки могли немногие современники, говорить же о них вслух не мог никто. Чтобы понять предисловие к роману (А. Григорьев назвал его «удивительным»), надо было, по словам Белинского, читать «между строками» [54]; это, в сущности, относится и ко всему роману. Характерно, од-

[54] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. V, М., 1954, стр. 455.

нако, что реакционная критика (во главе с венчанным судьей) напала на «Героя нашего времени» именно как на общественно-политический роман, будто бы содержащий клевету на русского человека. К сожалению, слишком многое (и иногда самое важное) Лермонтову пришлось обойти молчанием, приглушить или так зашифровать, что критики другого лагеря и качества не всё заметили, услышали или отгадали. Ю. Самарин, например, хотя и был дружен с Лермонтовым, позволил себе записать в своем дневнике от 31 июля 1841 г. (узнав о его гибели) следующие странные, но, видимо, распространенные тогда суждения: «Он умер в ту минуту, как друзья нетерпеливо от него ожидали нового произведения, которым он расплатился бы с Россиею. ⟨...⟩ На нем лежал великий долг,— его роман „Герой нашего времени". Его надлежало выкупить, и Лермонтов, ступивши вперед, оторвавшись от эгоистической рефлексии, оправдал бы его и успокоил многих» [55]. На оценках и истолковании романа сказалась острота позиции, которую занимал Лермонтов, и тем более — острота поднятых им проблем. Роман был прочитан с пристрастием — не столько как художественное произведение, сколько как своего рода памфлет. Даже Герцен сказал в 1868 г., что Лермонтов «умер в безвыходной безнадежности печоринского направления, против которого восставали уже и славянофилы и мы» [56]. Это, конечно, неверно, и в отношении к Лермонтову и в отношении к Печорину — и мы лишний раз убеждаемся, что великие произведения искусства далеко не всегда в полной мере и во всей своей глубине оцениваются современниками, а раскрываются постепенно, вместе с ростом народа, с его историей.

Белинский выше и вернее всех оценил художественную сторону «Героя нашего времени», но кое-что в идейном замысле романа в целом, и особенно в фигуре Печорина, осталось вне его восприятия, поскольку круг его идей и настроений был иным. Но Белинский понял силу заложенных в этом романе смыслов и, не в пример Ю. Самарину, написал в рецензии на второе издание «Героя нашего времени» следующие замечательные слова: «Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни,— отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романтическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собой связь и некоторое единство, по при-

[55] Э. Г. Герштейн. Отклики современников на смерть Лермонтова. В сб.: «М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы». М., 1939, стр. 68.

[56] А. И. Герцен. Собрание сочинений, т. 20, кн. 1. М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 347.

меру куперовской тетралогии, начинающейся ,,Последним из Могикан", продолжающейся ,,Путеводителем в пустыне" и ,,Пионерами" и оканчивающейся ,,Степями"...» [57].

Думается, что Белинский привел эти заглавия куперовских романов не для того, чтобы просто напомнить их читателям, а для того, чтобы дать им точнее понять, каков был замысел Лермонтова: «Последние из Могикан» — это дворянство екатерининской эпохи; «Путеводитель в пустыне» и «Пионеры» — это роман о декабристах, в котором должны были появиться Грибоедов и Ермолов; «Степи» — это николаевская эпоха. В «Войне и мире» этот замысел частично осуществился (как в истории непременно осуществляется всё органическое, живое); что же касается «Героя нашего времени», то он, вопреки мнениям Самарина, Шевырева и других, оказался волшебным зерном, из которого в дальнейшем вырос русский психологический роман.

---

[57] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. V, М., 1954, стр. 455.

Э. Э. Найдич

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» В РУССКОЙ КРИТИКЕ

1

«Герой нашего времени» относится к числу книг, которые, пройдя через столетия, сохраняют свою притягательную силу и продолжают волновать умы и сердца многих поколений.

Сразу же после опубликования в мартовском номере «Отечественных записок» в 1839 г. повести «Бэла» Белинский на страницах журнала «Московский наблюдатель» отметил, что «проза Лермонтова достойна его высокого поэтического дарования». Он обратил внимание на простоту и безыскусственность рассказа, на его сжатость и многозначительность. Белинский увидел в повести противоядие модной в те годы романтической литературе о Кавказе и прежде всего повестям Марлинского. Он пишет, что в отличие от последних «такие рассказы знакомят с предметом, а не клевещут на него».

Вскоре после выхода в свет отдельного издания романа в «Отечественных записках» (1840, № 5) и «Литературной газете» (1840, № 42, 25 мая) были напечатаны две небольшие рецензии Белинского, предшествующие подробному разбору романа. Белинский подчеркнул самобытность и оригинальность «Героя нашего времени» и с поразительной смелостью и прозорливостью заявил, что роман представляет собой «совершенно новый мир искусства» [1].

Белинский обратил внимание на то, что «Герой нашего времени» — не собрание разрозненных повестей и рассказов, а единый роман, составные части которого «нельзя читать отдельно или смотреть на них, как на отдельные произведения» (IV, 173).

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV. М., Изд-во АН СССР, 1954, стр. 147. В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: после цитаты в скобках указываются соответствующие том и страница.

Белинский рассматривал «Героя нашего времени» как замкнутое художественное целое: «Тут нет ни страницы, ни слова, ни черты, которые были бы наброшены случайно; тут всё выходит из одной главной идеи и всё в нее возвращается» (IV, 146). В основе романа, по мнению критика, лежит идея, развитая в главном действующем лице — Печорине.

Здесь Белинским впервые было высказано суждение, ставшее впоследствии общепринятым, о постепенном раскрытии от повести к повести характера главного героя.

Белинский увидел в романе Лермонтова «глубокое чувство действительности, верный инстинкт истины», «глубокое знание человеческого сердца и современного общества» (IV, 146). По мнению критика, «роман должен возбудить всеобщее внимание, весь интерес нашей публики», так как «в основной идее романа... лежит важный современный вопрос о внутреннем человеке» [2].

Все эти мысли Белинского получили дальнейшее развитие в его статье о «Герое нашего времени», опубликованной в «Отечественных записках» в 1840 г. (№ 6, 7).

Анализируя образ Печорина, Белинский еще находился в плену ошибочных идей «примирения с действительностью». Он считал, что жизненные противоречия есть лишь необходимый момент в развитии абсолютной идеи, что диссонанс разрешится стройной гармонией (IV, 238—239). Состояние Печорина Белинский рассматривал как временную болезнь, отражающую «переходное состояние духа». Однако, несмотря на эту позицию, Белинский именно своей характеристикой Печорина сразу же наметил прогрессивную линию в оценке романа. Еще до того, как реакционная критика объявила образ Печорина клеветой на русскую жизнь, Белинский выступил со страстной защитой Печорина, доказывая, что это образ жизненный, глубоко связанный с действительностью.

«Искусство поэта,— писал Белинский,— должно состоять в том, чтобы развить на деле задачу: как данный природою характер должен образоваться при обстоятельствах, в которые поставит его судьба» (IV, 205). Подчеркивая благородство, глубину и мощь духа Печорина и объясняя его поступки, находящиеся в резком противоречии с его натурой, обстоятельствами, в которые поставлен герой, Белинский возлагал ответственность за это не на самого Печорина, а на время, в которое он живет. Анализ образа Печорина приводил Белинского к главному выводу: «„Герой нашего времени" — это грустная дума о нашем времени...» (IV, 266).

---

[2] Само словосочетание «внутренний человек» (очевидно восходящее к распространенному в немецкой философии и публицистике der innere Mensch) было зарегистрировано в толковом словаре Даля: «внутренная, внутренняя... внутренний духовный человек, душа, дух» с приведением фразы: «Никто не видит внутреннюю в человеке, тайник души его, намерения, действия его и совесть» (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. I, 1955, стр. 216—217, А—З).

Историко-литературное значение анализа Белинским образа Печорина очень велико. Можно сказать, что в статье о «Герое нашего времени» уже отмечена одна из главных особенностей русского критического реализма XIX в.: изображение характера типического представителя современного общества дается так, что приводит к отрицанию отношений, господствующих в обществе. Белинский здесь впервые в русской критике высказывает мысль, позднее с предельной четкостью сформулированную Чернышевским: «Как осуждать отдельного человека за то, в чем виновато всё общество».

Статья Белинского открывает серию выступлений русской критики о «лишних людях»; в ней дано сопоставление образов Онегина и Печорина, отражающих соответствующие периоды в развитии русского общества. Характеристика Онегина дает возможность Белинскому убедительно обосновать главную мысль статьи — о типичности Печорина.

В письме к В. П. Боткину от 12 августа 1840 г. Белинский писал: «...Очень рад, что тебе понравилась 2-я статья моя о Лермонтове (вторая часть статьи о „Герое нашего времени"). Краткий тон ее — результат моего состояния духа: я не могу ничего ни утверждать, ни отрицать, и поневоле стараюсь держаться середины. Впрочем, будущие мои статьи должны быть лучше прежних: 2-я статья о Лермонтове есть начало их. От теории об искусстве я снова хочу обратиться к жизни и говорить о жизни...» (XI, 540). Этот поворот, наметившийся в процессе работы над статьей о «Герое нашего времени», невольно привел Белинского к одному противоречию[3].

В начале разбора Белинский подчеркивал, что причина «полноты впечатлений» заключена «в единстве мысли, которая выразилась в романе». «Во всех повестях одна мысль, и эта мысль выражена в одном лице, которое есть герой всех рассказов» (IV, 199). В рецензиях, предшествующих статье, Белинский писал: «Роман г. Лермонтова проникнут единством мысли...». Этот тезис критик выдвигал в связи с истолкованием романа как обособленного замкнутого целого. Во второй части статьи, когда Белинский от теорий об искусстве обращается к жизни, он несколько отступает от своих прежних выводов: «...роман, поражая удивительным единством *ощущения*, нисколько не поражает единством *мысли*... — пишет он.— Это же единство ощущения, а не идеи, связывает и весь роман» (IV, 267).

Такое изменение связано с тем, что после конкретного анализа романа Белинский пришел к убеждению, что сила романа заключена прежде всего в постановке важнейших общественно-бытовых вопросов, а не в их решении: «В нем есть что-то неразгаданное, как бы недоговоренное... таковы бывают все современные общественные вопросы, высказываемые

[3] На это противоречие обратил внимание Я. Эльсберг в статье «Лермонтов в оценке революционных демократов» («Литературное наследство», № 43—44, стр. 814—815).

в поэтических произведениях: это вопль страдания, но вопль, который облегчает страдания» (IV, 267).

Первым откликом печати реакционного лагеря на роман Лермонтова явилась статья С. О. Бурачка («Разговор в гостиной»), опубликованная в журнале «Маяк» (1840, ч. IV). Отождествив автора романа с Печориным, Бурачок с негодованием писал, что в «Герое нашего времени» «нет ни религиозности, ни народности», что образ Печорина является клеветой на русскую действительность, «на целое поколение людей», что «в натуре этакие бесчувственные, бессовестные люди невозможны»: «В ком силы духовные хоть мало-мальски живы,— заключал критик,— для тех эта книга отвратительно несносна» [4].

Единственным исключением из числа «отвратительных и грязных» героев, по мнению Бурачка, является в романе образ Максима Максимыча [5]. Возмущаясь недостаточно почтительным отношением автора к этому персонажу, критик «Маяка» рассматривал «Героя нашего времени» как образец новейшей «романтической литературы», лишенной моральных

---

[4] Это мнение Бурачка оказалось настолько близко известному М. Н. Загоскину, что он в письме к издателю «Маяка» («Маяк», 1840, ч. VII, стр. 101—102) заявил, что готов «броситься к Бурачку на шею». Бурачок не ограничился статьей и напечатал мракобесную повесть «Герой нашего времени» («Маяк», 1845, ч. XIX—XX), которая, по мысли автора, должна была противостоять «ядовитому» роману Лермонтова. В повести, между прочим, рассказано, что одна девица, увлеченная «Героем нашего времени», сошла с ума. Подробнее о повести Бурачка см.: С. Андреев. Лермонтов и реакция. «30 дней», 1938, № 7, стр. 88—90.

Письма от читателей по поводу развернувшейся полемики получали и «Отечественные записки». Значительный интерес представляет письмо от 13 декабря 1840 г. А. И. Артемьева, студента Казанского университета, впоследствии известного статистика, археолога и географа. Студент-разночинец целиком и полностью разделял мнение Белинского и осуждал позицию Бурачка. «Стражи „Маяка“,— пишет Артемьев,— боятся, что мы все, прочитавши книгу Лермонтова, сделаемся такими же героями нашего времени, как и Печорин. Да чем же быть, гг. Максимы Максимовичи? Скорее, мне кажется, надобно идти вслед за веком, нежели отставать от него. „Герой нашего времени“, по крайней мере для меня, гораздо нравственнее, хотя в нем и нет огромных молитв». Разумеется, это письмо не могло быть напечатано в «Отечественных записках». Оно было опубликовано по материалам архива А. А. Краевского в книге В. И. Кулешова «„Отечественные записки“ и литература 40-х годов XIX века» (М., Изд-во МГУ, 1959, стр. 44—45).

[5] С мнением Бурачка совпал отзыв Николая I. В письме к императрице от 12 июня 1840 г. он писал: «Я прочел „Героя“ до конца,— и нахожу вторую часть отвратительною, вполне достойною быть в моде. Это то же преувеличенное изображение характеров, которое находим в нынешних иностранных романах». Подобно Бурачку, Николай I остался доволен лишь образом Максима Максимыча. «Когда я начал эту историю, я надеялся и радовался, что, вероятно, он будет героем нашего времени... Господин Лермонтов был неспособен повести (до конца) этот благородный и простой характер и заменяет его жалкими, очень малопривлекательными личностями...» (см.: Б. М. Эйхенбаум. Николай I о Лермонтове. «Литературный критик», 1940, № 2; см. также отрывки из дневника Николая I, содержащие отзыв о «Герое нашего времени», в статье Э. Герштейн «Подмененные пистолеты» («Огонек», 1960, № 31, стр. 30—31).

устоев, и противопоставлял роману Лермонтова вышедший одновременно с ним ничтожный роман А. П. Башуцкого «Мещанин».

В начале июня 1840 г., еще до публикации статьи Белинского, но уже после его предварительных рецензий, в «Сыне Отечества» появился резкий отзыв о «Герое нашего времени», принадлежащий Н. А. Полевому.

С легкой руки Бурачка сопоставление «Героя нашего времени» с «Мещанином» Башуцкого стало одним из полемических приемов реакционной критики. Чтобы принизить значение лермонтовского романа, Полевой посвятил свою рецензию сразу обоим произведениям, характеризуя их как «больные создания, влекущиеся между жизнью и смертью в малый промежуток их бедного, эфемерного бытия» [6].

Если Полевой и Бурачок разошлись в оценке «Мещанина», то в отношении к «Герою нашего времени» у них было полное единодушие. Слова Полевого о том, что критика бесполезна для многих пишущих, «как бесполезны дождь и роса для растений, корень которых подточен неумолимым червяком», были лишь повторением рассуждений Бурачка.

Принадлежность этой анонимной рецензии Н. Полевому подтверждается тем, что в том же номере «Сына Отечества», где напечатана рецензия на «Героя нашего времени», помещена заметка Н. Полевого, в которой он сообщал о своем уходе из журнала. Он писал, что это последний номер, в котором он выступает как сотрудник и редактор отделов критики, библиографии и смеси. В конце рецензии на «Героя нашего времени» содержатся строки, непосредственно связанные с этим обстоятельством: «Мм. гг., грустно смотреть на современную литературу русскую, и обязанность рецензента становится ныне тяжелою, невыносимою обязанностью! Едва ли кто, посвятивши ей несколько времени, не захочет искупить увольнения от нее всякими пожертвованиями, не захочет купить спокойствия молчанием, предоставляя всякому делать, что ему угодно. Блажен, кто может положить критическое перо и повторить стих Виргилия: Deus nobis haec otium fecit!» [7].

Эти строки Полевого особенно интересны тем, что в какой-то мере они представляли собою и ответ на стихотворение «Журналист, Читатель и Писатель» Лермонтова.

Н. И. Мордовченко установил, что «Журналист, Читатель и Писатель» явился своего рода литературно-общественной декларацией Лермонтова, выдвинутой накануне выхода в свет романа. В образе журналиста и в его речах, как это показал Н. И. Мордовченко, «нельзя не узнать некоторых существенных черт облика Н. Полевого» [8]. На лермонтовские стихи о трагической судьбе писателя Полевой ответил словами о «тяжелых, невы-

---

[6] «Сын Отечества», 1840, кн. 2, № 8, стр. 857.

[7] Там же.

[8] Н. И. Мордовченко. Белинский и русская литература его времени. М.— Л., Гослитиздат, 1950, стр. 99.

носимых» обязанностях журналиста, который хочет «купить спокойствие молчанием».

Очень двусмысленна рецензия на «Героя нашего времени», принадлежавшая О. И. Сенковскому. «Г. Лермонтов,— писал Сенковский.— счастливо выпутался из самого затруднительного положения, в каком только может находиться лирический поэт, поставленный между преувеличениями, без которых нет лиризма, и истиною, без которой нет прозы. Он надел плащ истины на преувеличения, и этот наряд очень к лицу им» [9].

Чего стоили похвалы Сенковского, можно судить по его резко отрицательному отзыву на второе издание «Героя нашего времени». Сенковский писал, что после смерти Лермонтова можно рассуждать о его творчестве объективно и что «нельзя выдавать „Героя нашего времени" за что-нибудь выше миленького ученического эскиза»[10]. Рецензия Сенковского вызвала резкую отповедь Белинского в его отклике на третье издание «Героя нашего времени» («Литературная газета» от 18 марта 1844 г.).

Доброжелательно встретил роман Лермонтова издатель «Современника» П. А. Плетнев, сравнивший в кратком отзыве «Героя нашего времени» с «Рыцарем нашего времени» Карамзина. Он писал, что эти произведения отмечены «печатью истинного таланта; каждое приняло на себя живые, яркие краски эпохи их создания; каждому суждено прослушать в молчании брюзгливые выходки судий, которые, лишены будучи способности мыслить и чувствовать, утешаются неотъемлемым своим правом — побранивать всё привлекательно-живое» [11].

Особое место в выступлениях реакционной критики занимает хвалебная рецензия Ф. Булгарина, напечатанная в «Северной пчеле» (1840 г., 30 июня). «Лучшего романа, — писал Булгарин, — я не читал на русском языке». Вскоре после появления статьи Булгарина на страницах «Отечественных записок» Белинский написал об истинной подоплеке этой статьи: «явились ложные друзья, которые спекулируют на имя Лермонтова, чтобы мнимым беспристрастием (похожим на *купленное* пристрастие [12]) поправить в глазах толпы свою незавидную репутацию» (IV, 373).

---

[9] «Библиотека для чтения», 1840, т. 39, ч. 2, № 4, отд. VI (Литературная летопись), стр. 17.

[10] «Библиотека для чтения», 1844, т. 63, № 3, отд. VI, стр. 12.

[11] «Современник», 1840, т. XIX, отд. III, стр. 139. Судя по письмам Плетнева, его отношение к роману Лермонтова в связи с идейным размежеванием в литературе начала 40-х годов вскоре очень изменилось. Перейдя в консервативный лагерь, он резко осудил «Героя нашего времени», как произведение подражательное, лишенное оригинальности, связанное с французской прозой, французскими политическими идеями. Подробнее об этом см. в кн.: В. А. Мануйлов, М. И. Гиллельсон, В. Э. Вацуро. М. Ю. Лермонтов. Семинарий. Л., 1960, стр. 25—26

[12] Есть сведения, что Булгарин получил крупную сумму от издателей романа, которые просили его написать фельетон, так как издание плохо расходилось

Спекуляция, о которой писал Белинский, заключалась в том, что Булгарин назойливо подчеркивал свое объективное отношение к писателю, постоянно выступающему на страницах органа, враждебного «Северной пчеле». Любопытную позицию занял Булгарин в решении основного вопроса, возникшего в полемике вокруг романа. Он заимствовал у Белинского мысль о том, что в романе раскрыта болезнь русского общества [13] и тем самым разошелся с Бурачком. Но эта болезнь, по мнению Булгарина, заключалась в «клейме Запада на современном поколении». Осудив Бурачка за его резкую статью, издатель «Северной пчелы», подобно критику «Маяка», подошел к роману с моралистических позиций и увидел в нем лишь нравственный урок: «К чему ведут блистательное воспитание и все светские преимущества без положительных правил, без веры, надежды и любви» — такова, по мнению Булгарина, господствующая идея романа.

Наиболее полная и развернутая оценка «Героя нашего времени», исходящая из реакционного лагеря, принадлежит С. П. Шевыреву. Свой основной тезис Шевырев сформулировал в статье «Взгляд на современное образование Европы» («Москвитянин», 1841, № 1) и затем развил его в специальной статье, посвященной роману Лермонтова («Москвитянин», 1841, № 2).

Главная мысль статей Белинского о «Герое нашего времени» — утверждение связи Печорина с современной жизнью, доказательство, что Печорин — «характер действительный». Против этого положения и выступил критик «Москвитянина»: «Всё содержание повестей г-на Лермонтова, кроме Печорина, — утверждал Шевырев, — принадлежит существенной жизни; но сам Печорин, за исключением его апатии, которая была только началом его нравственной болезни, принадлежит миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада. Этот призрак, только в мире нашей фантазии имеющий существенность».

За противоположностью оценок Печорина легко обнаруживается противоположность взглядов Шевырева и Белинского, их различное отношение к русской действительности. Шевырев писал в своей статье, что если признать Печорина героем нашего времени, то «стало быть, век наш тяжко болен».

Шевырев обвинял Лермонтова также в натурализме. По мнению критика, образ Печорина не только ложен в своей основе, но и художественно

(«Краткий очерк книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых». СПб., 1883, стр. 71—72). По другой версии, бабушка Лермонтова будто бы без ведома поэта отправила Булгарину два экземпляра романа, вложив в один из них 500 руб. ассигнациями («Исторический вестник», 1892, № 11, стр. 387).

[13] По этому поводу Белинский писал: «...сия газета выбрала несколько мыслей из критики „Отечественных записок“, разумеется, исказив их по-своему, и нашпиговала свою статейку тупыми остротами насчет обобранной ею же критики...» (IV, 373).

неполноценен, поскольку зло, как главный предмет художественного произведения, может быть изображаемо только крупными чертами идеального типа (в виде титана, а не пигмея), а Лермонтов в «Герое нашего времени» якобы вникает «во все подробности гниения жизни». Печорин «принадлежит к числу тех пигмеев зла, которыми так обильна теперь повествовательная и драматическая литература Запада».

Значительное место в статье Шевырева занимает анализ темы Кавказа в творчестве Лермонтова, в частности в «Герое нашего времени». «Здесь, — писал Шевырев, — сходятся в великой и непримиримой вражде Европа и Азия. Здесь Россия, граждански устроенная, ставит отпор этим, вечно рвущимся потокам горных народов, не знающих, что такое договор общественный... Здесь вечная борьба наша... Здесь поединок двух сил, образованных и диких... Здесь жизнь!.. Как же не рваться сюда воображению поэта?».

Весной 1841 г. в предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени» Лермонтов подвел итог литературной полемике, развернувшейся после выхода романа в свет. Писатель дал резкую отповедь Шевыреву, иронически отозвался о мнениях Бурачка[14]. В предисловии к роману Лермонтов выступил как единомышленник Белинского. Как это показал Н. И. Мордовченко, заключительная часть предисловия, посвященная авторской оценке Печорина, находится в прямом соответствии с тем, что писал Белинский[15]. Лермонтовское предисловие вызвало восторженный отзыв Белинского в рецензии на второе издание романа и было целиком процитировано им на страницах «Отечественных записок» (V, 451—456).

Следует обратить внимание еще на один факт, связанный с полемикой вокруг «Героя нашего времени». Вскоре после выхода статей Шевырева о «Герое нашего времени» и о стихотворениях Лермонтова («Москвитянин», 1841, № 4) поэт написал стихотворение «Спор» и передал его для напечатания в «Москвитянине»[16]. Передача стихотворения в славянофильской журнал была своеобразным ответом на критику Шевырева. А. С. Хомяков, один из самых видных сотрудников «Москвитянина», в письме Н. М. Языкову летом 1841 г. писал: «В „Москвитянине“ был разбор Лермонтова Шевыревым, и разбор не совсем приятный, по-моему, несколько неспра-

---

[14] См. об этом подробнее выше, в статье Б. М. Эйхенбаума и в примечаниях, стр. 159, 220—221.

[15] Н. И. Мордовченко. Белинский и литература его времени, стр. 123.

[16] Об этом факте сообщено в дневнике Ю. Ф. Самарина, который передал статью в журнал. В той же записи от 31 июля 1841 г. находим характерные для славянофильской критики слова о Лермонтове: «Он умер, оставив по себе тяжелое впечатление. На нем лежал великий долг — его роман „Герой нашего времени“. Его надлежало выкупить, и Лермонтов, ступивши вперед, оторвавшись от эгоистической рефлексии, оправдал бы его и успокоил многих» (Ю. Ф. Самарин. Сочинения, т. 12, М., 1911, стр. 55).

ведливый. Лермонтов ответил очень благоразумно: дал в „Москвитянин" славную пьесу „Спор Шата с Казбеком", стихи прекрасные» [17].

Появление стихотворения с названием «Спор» в органе литературных противников должно было, очевидно, свидетельствовать о несогласии поэта с критикой Шевырева, должно было подчеркнуть, что лучшим ответом на критику является художественное творчество в прежнем направлении. Не случаен был и выбор темы стихотворения. Ведь журнал «Москвитянин» постоянно писал об исторической миссии России, а Шевырев в статье о «Герое нашего времени» пространно рассуждал о борьбе России и Кавказа. Самую борьбу, спор этих двух сил Шевырев истолковывал в отвлеченно идеалистическом плане и считал ее непримеримой и вечной.

Лермонтов в стихотворении «Спор» в ответ на эти реакционные рассуждения Шевырева дал картину борьбы России и Кавказа, поразительную по силе художественных образов, красочности, философской глубине и точности. Его литературным противникам не оставалось ничего другого, как признать это стихотворение прекрасным и поместить его на страницах своего журнала («Москвитянин», 1841, № 6).

Таковы основные этапы полемики, развернувшейся в 1840—1841 гг. после выхода в свет «Героя нашего времени».

2

Анализ «Героя нашего времени» должен был занять большое место в неосуществленной статье Белинского о Лермонтове в задуманной им «Истории русской литературы». Белинский подчеркивал, что обещанные статьи о Гоголе и Лермонтове «нисколько не будут повторением сказанного» (VII, 107).

В статьях о Пушкине 1843—1846 гг. Белинский характеризовал «Героя нашего времени» как произведение народное, национальное. Он опровергал мнение тех, кто считал, что «чисто русскую народность» следует искать лишь в произведениях, черпающих содержание «из жизни низших и необразованных классов». Критик указывал, что поэт, изображающий жизнь образованных сословий, может претендовать «на громкое титло национального поэта» и ставил «Героя нашего времени» в один ряд с «Горем от ума» и «Мертвыми душами», называя эти произведения национальными и превосходными в художественном отношении (VII, 438—439).

Сравнивая романы Лермонтова и Пушкина, Белинский писал: «„Герой нашего времени" был новым „Онегиным"; едва прошло четыре года — и Печорин уже не современный идеал» (VII, 447). В статье о повести В. Соллогуба «Тарантас» Белинский развил эту мысль: «После Онегина и Печорина в наше время никто не брался за изображение героя нашего

[17] А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений, т. 8. М., 1904, стр. 104.

времени. Причина понятна: герой настоящей минуты — лицо в одно и то же время удивительно многосложное и удивительно неопределенное, тем более требующее для своего изображения огромного таланта» (IX, 79).

Оценка образа Печорина в перспективе развития русского общества и роста передовой общественной мысли дана Белинским в связи с разбором романа А. И. Герцена «Кто виноват?».

По мнению Белинского, «...в последней части романа Бельтов вдруг является перед нами какою-то высшею, гениальною натурою, для деятельности которой действительность не предоставляет достойного поприща... это уже не Бельтов, а что-то вроде Печорина... Сходство с Печориным для него крайне невыгодно» (X, 321—322).

Это замечание Белинского в обзоре русской литературы за 1847 г. предвосхищало высказывания революционно-демократической критики 50—60-х годов, сопоставлявшей образ Печорина со всей галереей «лишних людей» в русской литературе.

К 40-м годам относятся и ранние критические статьи А. Григорьева.

Первая из них — «Об элементах драмы в нынешнем русском обществе» [18] ставит вопрос о «жалком состоянии» русской сцены, в которой господствуют избитые романтические драмы с «идеалом, сложившимся из средневековых понятий о любви и из восточных понятий о женщине».

А. Григорьев призывает писателей к созданию драмы на темы повседневной жизни, где автор показал бы ту особенную сторону действительности, «которая движет известным веком и известным народом».

В этой статье А. Григорьева чувствуется влияние идей Белинского и Герцена, в частности во взглядах А. Григорьева на роль любви в жизни человека и общества [19].

Статья А. Григорьева состоит из двух писем. В письме первом критик утверждает, что в «Печорине, несмотря на его впечатлительность, еще есть suffisance собственного *Я*, поклоняющегося только себе, не страдавшего болезненно тем благородным, благодатным страданием, которое, само в себе находя пищу, неумолимо выживает мелкий, ограниченный эгоизм, чтобы создать эгоизм сознательный, проникнутый чувством целого и уважением к себе и другим, как частям великого целого» [20]. По мнению критика, этот ограниченно эгоистический идеал был преодолен в творчестве Лермонтова, «который... был столько же выше своего Печорина, сколько Гёте был выше своего Вертера» [21]. «Посмотрите, как в самом Лермонтове перегорел и очистился этот эгоизм, как это чувство любви от скуки и празд-

---

[18] «Театральная летопись», 1845, № 4, стр. 38—40; № 8, стр. 74—75.

[19] См. статью Герцена «По поводу одной драмы» («Отечественные записки», 1843, № 8), а также вторую статью Белинского о Пушкине («Отечественные записки», 1843, № 9).

[20] «Театральная летопись», № 4, стр. 39.

[21] Там же.

ности, чувство души, страдающей пустотою, чувство отрицания претворилось в идею разумную и человеческую в стихотворениях последней его эпохи, и особенно в стихотворении:

Пускай толпа клеймит презреньем
Наш неразгаданный союз»[22].

Предвестником споров, разгоревшихся в 50-х годах, было еще одно выступление А. Григорьева — «Обозрение журнальных явлений за январь и февраль» (1847 г.). Приветствуя появление романа Герцена «Кто виноват?», А. Григорьев усматривал в современной литературе наличие двух различных школ — «школы Лермонтова, школы трагизма, и школы юмористической, школы Гоголя»[23].

Это противопоставление двух школ шло вразрез с концепцией Белинского, объединявшего творчество Гоголя и Лермонтова в единое литературное направление.

Для полноты обзора следует кратко сказать об оценке «Героя нашего времени» в рецензии В. Т. Плаксина на издание сочинений Лермонтова 1847 г.[24]

Ее автор — преподаватель словесности в ряде учебных заведений Петербурга (и, между прочим, в 1834 г. учитель Лермонтова в школе гвардейских подпрапорщиков), составитель учебных руководств, в которых, по замечанию Белинского, «пережитки классицизма» соединялись с «тяжелой необходимостью смешать свои понятия с новыми, признать авторитеты» (VI, 345).

Эта характеристика вполне применима и к разбору «Героя нашего времени» в рецензии Плаксина. Объявив роман лучшим произведением Лермонтова, а изображение Печорина — безупречным в художественном отношении, Плаксин тут же заявляет, что Печорин в «Тамани» не имеет якобы никакого отношения к Печорину в «Бэле», что «Герой нашего времени» — лишь искусственное соединение отдельных повестей, ибо ряд персонажей в романе может «быть или не быть». Перефразируя некоторые положения Белинского и утверждая, что в Печорине сочетается «то, что дала ему природа и то, что навязал ему деспотизм духа времени», Плаксин определяет роман Лермонтова как сатирическое произведение, раскрывающее двойственную натуру человека, с его некоторой способностью к добру и злу.

---

[22] «Театральная летопись», 1845, № 4, стр. 74. О знакомстве в эти годы А. Григорьева с идеями утопического социализма см. вступит. ст. П. Громова и примечания Б. Костелянца в кн.: А. Григорьев. Избранные произведения. «Библиотека поэта». Большая серия. Л., «Советский писатель», 1959.

[23] «Московский городской листок», 4 марта 1847 г.

[24] «Северное обозрение», 1848, № 3, отд. 5, стр. 1—20. Рецензия перепечатана в хрестоматии В. Зелинского «Русская классическая литература о произведениях М. Ю. Лермонтова», ч. 2. М., 1897, стр. 121—143.

3

Намеченная Белинским прогрессивная линия в оценке лермонтовского романа была продолжена Чернышевским и Добролюбовым.

В рецензии на романы и повести М. Авдеева («Современник», 1854, № 2) Чернышевский показал, что роман Авдеева «Тамарин», вопреки желанию автора, превратился в восторженный панегирик Тамарину, так как романист руководствовался «не действительностью, а ложно понятым романом Лермонтова»[25]. Чернышевский подчеркивал, что между Печориным и Тамариным мало общего. Тамарин — «это — Грушницкий, явившийся г. Авдееву во образе Печорина» (II, 214).

В замечательной по точности и краткости формулировке Чернышевский определил основной смысл «Героя нашего времени»: «Лермонтов — мыслитель глубокий для своего времени, мыслитель серьезный — понимает и представляет своего Печорина, как пример того, какими становятся лучшие, сильнейшие, благороднейшие люди под влиянием общественной обстановки их круга» (II, 211).

В обзоре «Русская литература в 1851 г.» («Москвитянин», 1852, № 2, 3) А. Григорьев утверждал, что Печорин развился «под влиянием обстоятельств, чуждых русскому быту», что он «в особе Тамарина потерял свою грандиозность, а самое отрицательное лермонтовское направление окончательно истощило себя в романе „Кто виноват?“»[26].

А. Григорьев стремился доказать слабость Лермонтова как мыслителя, доказать, что «слово лермонтовской деятельности... по самой натуре своей было неспособно к дальнейшему развитию. Это слово было протест личности против действительности,— протест, вышедший не из ясного понимания идеала, а из условий, заключавшихся в болезненном развитии самой личности»[27].

Доказывая в своем обзоре литературы за 1852 г., что лермонтовское направление умерло, А. Григорьев подтверждал это ссылками на роман «Тамарин», в котором усматривал необыкновенно удачную, хотя и бессознательную, пародию на «Героя нашего времени»[28].

Подобная тенденция в отношении к образу Печорина была намечена несколько ранее А. В. Дружининым в «Письмах иногороднего подписчика о русской журналистике» (письмо 7, сентябрь 1849 г.) в связи с появлением в «Современнике» первой части «Тамарина».

По многим вопросам Дружинин расходился с А. Григорьевым. Он, например, считал, что Авдеев «в лице Печорина подметил самую бедную

---

[25] Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 2. М., Гослитиздат, 1949, стр. 214. В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно в тексте.

[26] А. Григорьев. Собрание сочинений, под ред. В. Ф. Саводника, вып. 9. М., 1916, стр. 10.

[27] Там же, стр. 24.

[28] Там же, стр. 58.

его сторону, или, лучше сказать, не ту сторону, с которой создание Лермонтова глубоко и замечательно» [29]. Но по своей основной направленности Дружинин был очень близок к А. Григорьеву, подобно последнему, обедняя образ Печорина: «Он был героем в маленькой драме, отличным актером на сцене провинциального театра», «в самом Печорине нет ровно ничего необъятно высокого», Печорин не одарен «ни одною необыкновенной способностью», это лицо «нимало не грандиозное и не превышающее толпы своею головою». Перед героями Байрона — Манфредом, Гяуром, Чайльд Гарольдом Печорин «кажется жалким ребенком, изведавшим одну миллионную частичку жизни...» и т. п. [30]

Через несколько лет в статье «Повести и рассказы И. С. Тургенева» (1857 г.) Дружинин, сопоставляя героя тургеневской повести «Бреттер» Авдея Лучкова с Печориным, говорил с полной отчетливостью о причине своей неприязни к герою Лермонтова. Оказывается, читатели и критики были «до сих пор через меру снисходительны к *человеку озлобленному*, не давая себе труда разъяснять, на чем держится это так приятное для них озлобление». Значение тургеневской повести заключается, по мнению критика, в том, что благодаря образу Лучкова герои нашего времени выведены «на свежую воду» и сведены «с мелодраматического пьедестала». «Озлобленный герой,— пишет далее Дружинин,— взятый так, как его понимали в сороковых годах, зол вследствие разных таинственных причин, вследствие недостатка деятельности для своей персоны...» [31].

Под сороковыми годами Дружинин разумеет Белинского, а под современниками, поддерживающими озлобленных людей,— революционных демократов. «Даже один из наших поэтов высокого дарования с простодушием называет себя человеком озлобленным» [32],— писал Дружинин о Некрасове.

Таким образом, отрицательное отношение к герою Лермонтова реакционной критики по-прежнему объяснялось политическими мотивами, борьбой с революционным протестом.

Недаром несколько позднее А. Григорьев писал о лермонтовских типах — Арбенине, Мцыри, Арсении: «Ведь приглядитесь к ним поближе, к этим туманным, но могучим образам: за Ларою и Корсаром проглянет в них, может быть, Стенька Разин» [33].

Мнения А. Григорьева и А. Дружинина совпадали еще в одном очень важном пункте, несмотря на кажущееся различие в понимании лермонтовского романа. Оба они видели причины страданий Печорина не столько в общественных условиях, сколько в самой натуре героя. А. Григорьев

---

[29] А. В. Дружинин. Собрание сочинений, т. 6. СПб., 1865, стр. 165.
[30] Там же, стр. 165—168.
[31] Там же, т. 7, стр. 329.
[32] Там же, стр. 328.
[33] А. Григорьев. Собрание сочинений, вып. 7. М., 1915, стр. 4.

отмечал «болезненное развитие самой личности» [34] Печорина. Дружинин писал, что трагедия Печорина в том, что он *не умеет* направлять свои способности «к благородной и симпатической цели; по гордости своей неспособный к труду и сознанию своей пустоты, он тягостно ворочается в кругу отношений, не представляющих ему ни радости, ни средств к добру, ни путей к усовершенствованию» [35].

Приведенная выше оценка «Героя нашего времени» в рецензии Чернышевского на романы и повести Авдеева противостояла этим воззрениям и вместе с тем углубляла, делала более конкретными мысли Белинского.

В «Очерках гоголевского периода» (статья седьмая — «Современник», 1856, № 10) критик отметил, что характер Печорина в статье Белинского о «Герое нашего времени» (1840 г.) рассматривался с отвлеченной точки зрения, как порождение современной жизни вообще. По мнению Чернышевского, эта отвлеченность заключалась не только в применении теории примирения с действительностью, но и в отсутствии социального анализа. Белинский «не искал в Печорине особенностей, принадлежащих ему, как члену нашего русского общества» [36] (III, 241). В приведенной выше характеристике Чернышевский, восполняя этот пробел, говорит о «влиянии на людей, подобных Печорину, *общественной обстановки их круга*». Оценивая «Героя нашего времени» Чернышевский безоговорочно относил Лермонтова к писателям гоголевского направления в русской литературе [37]. Такое соединение имен Лермонтова и Гоголя приобретало в 50-е годы особое значение, потому что реакционная критика противопоставляла имена Гоголя и Лермонтова.

---

[34] Там же, вып. 9, стр. 24.

[35] А. В. Дружинин. Собрание сочинений, т. 6, стр. 166—167.

[36] Отметим, что Добролюбов, студент Педагогического института, в рукописном журнале «Слухи» (1855 г., 1 декабря) также откликнулся на полемику вокруг «Тамарина». Говоря о влиянии «Героя нашего времени» на общество и о романе Авдеева «Тамарин», он замечает: «Это тоже Печорин, только в другом роде, так сказать quasi-Печорин, т. е. герой, худо понявший Печорина Лермонтова» (Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 4. М., Гослитиздат, 1937, стр. 453). Это высказывание перефразирует слова Чернышевского: Авдеев руководствовался «*ложно понятым* романом Лермонтова», «этот лже-Печорин — Тамарин — Грушницкий» (II, 214).

Об отношении юного Добролюбова к «Герою нашего времени» можно судить по его записи в реестре прочитанных книг от 25 февраля 1852 г.: «„Героя нашего времени“ прочел я теперь в третий раз, и мне кажется, что чем более я читаю его, тем лучше понимаю Печорина и красоты романа. Может быть, это и дурно, что мне нравятся подобные характеры, но тем не менее я люблю Печорина и чувствую, что на его месте я сам то же бы делал, то же чувствовал. Быть может, это болезнь раннего развития!» (запись опубликована в кн.: С. А. Рейсер. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., Госкультпросветиздат, 1953, стр. 43).

[37] Вскоре после того, как Чернышевский прочел и переписал сокращенным письмом собственного изобретения «Героя нашего времени» (XIV, 759), он 23 сентября 1848 г. записал в дневнике: «Лермонтов и Гоголь доказывают... что пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше ее Франция, Германия, Англия, Италия» (I, 127).

В статье о «Детстве и отрочестве» и «Военных рассказах» Л. Толстого, характеризуя психологический анализ Л. Толстого как изображение «диалектики души», Чернышевский отмечает: «Из других замечательнейших наших поэтов более развита эта сторона психологического анализа у Лермонтова» (III, 423). Приведя цитату из «Героя нашего времени» — «памятные всем размышления Печорина о своих отношениях к княжне Мери»,— Чернышевский делает вывод: «Тут яснее, нежели где-нибудь у Лермонтова, уловлен психический процесс возникновения мыслей...». Однако, отмечает критик, «это все-таки не имеет ни малейшего сходства с теми изображениями хода чувств и мыслей в голове человека, которые так любимы графом Толстым» (III, 423).

К «Герою нашего времени» Чернышевский постоянно обращался, иллюстрируя свою мысль о том, что «без сжатости нет художественности»: «В повестях и рассказах Пушкина, Лермонтова, Гоголя общее свойство — краткость и быстрота рассказа» (II, 69). «Прочитайте три, четыре страницы „Героя нашего времени“, „Капитанской дочки“, „Дубровского“ — сколько написано на этих страничках!» (II, 466).

4

К «Герою нашего времени» Чернышевский обращался и во второй половине пятидесятых годов в связи с развернувшейся полемикой о «лишних людях».

В условиях роста освободительного движения и революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов Чернышевский, а затем и Добролюбов, как литературные критики, прежде всего обратились к анализу произведений, содействующих, по их мнению, освободительной борьбе. В статьях Чернышевского о стихотворениях Н. Огарева, «Русский человек на rendez-vous» и других выдвигалась задача создания образа положительного героя, нового человека, революционера-разночинца, который должен был прийти на смену «лишним людям», героям предшествующего периода в истории русского общества. Если раньше Чернышевский подчеркивал исторически прогрессивную роль героя Лермонтова, то теперь он обращает внимание на ограниченность этой прогрессивности, которая отличает Печорина от героев, характеризующих новую ступень в общественном развитии. «Печорин ⟨по сравнению с Онегиным⟩,— пишет Чернышевский,— человек совершенно другого характера и другой степени развития. У него душа действительно очень сильная, жаждущая страсти; воля у него действительно твердая, способная к энергической деятельности, но он заботился только лично о самом себе. Никакие общие вопросы его не занимали. Надобно ли говорить, что Бельтов совершенно не таков... Еще менее возможно найти сходство между Рудиным и Печориным: один — эгоист, не думающий ни о чем, кроме своих личных наслаждений; другой — энту-

зиаст, совершенно забывающий о себе и весь поглощаемый общими интересами...» (IV, 699).

Эти строки были направлены против критика «Отечественных записок» С. С. Дудышкина, выступившего в статье о повестях и рассказах И. С. Тургенева («Отечественные записки», 1857, № 1) с утверждениями о том, что чуть ли не все «лишние люди», а особенно герои Тургенева непосредственно связаны с «Героем нашего времени».

Наиболее резко, отчетливо и полно эта новая тенденция в оценке образа Печорина проявилась в статье Добролюбова «Что такое обломовщина?» («Современник», 1859, № 5). Уже несколько ранее (в статье «Литературные мелочи прошлого года») Добролюбов сопоставил новых людей — разночинцев — с их предшественниками деятелями дворянского периода: «в их суждениях люди возвышаются не по тому, сколько было в них сокрыто великих сил и талантов, а по тому, сколько они желали и умели сделать пользы человечеству...» [38].

Отсутствие общественно-полезной деятельности у героев лучших повестей и романов 40—50-х годов, в том числе у Печорина, позволило Добролюбову в статье «Что такое обломовщина?» сопоставить этих героев с Обломовым и характеризовать эту их особенность как обломовщину.

Чтобы различными оговорками не ослабить своего удара по дворянскому либерализму, Добролюбов вводит в статью реплики «глубокомысленных людей», полемизирующих с автором, и, отвечая им, подчеркивает, что он имел в виду более обломовщину, нежели личность Обломова. «При других условиях, в другом обществе Онегин был бы истинно добрым малым, Печорин и Рудин делали бы великие подвиги, а Бельтов оказался бы действительно превосходным человеком» [39].

Оценка Чернышевского и Добролюбова не противостояла взглядам Белинского, а явилась их развитием в новых исторических условиях. Мысли Белинского о том, что образ Печорина правильно отражал русскую жизнь, что его характер объясняется временем, и главный смысл романа не в суде над героем, а в осуждении той эпохи, получили в статье Добролюбова четкое политическое выражение. Однако основная направленность критики Добролюбова заключалась не в исторической оценке «лишних людей», а в разоблачении дворянского либерализма.

Против позиции «Современника» в вопросе о так называемой обличительной литературе и о «лишних людях» выступил Герцен [40]. Прямым поводом для его выступления была названная выше статья «Литературные мелочи прошлого года», где Добролюбов разоблачал либеральных обличи-

---

[38] Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 4. М., Гослитиздат, 1937, стр. 61.

[39] Там же, т. 2, стр. 23.

[40] А. И. Герцен. Very dangerous!!! «Колокол», 1859, № 44, 1 июня.

телей, критикующих частные недостатки и не посягающих на основы самодержавно-крепостнического строя.

Недостаточно последовательный демократизм Герцена, его колебания в сторону либерализма вызвали разногласия и по вопросу об оценке «лишних людей». Герцен полемизировал с прежними мнениями «Современника» (см. названные выше статьи Чернышевского), еще не зная о дискредитации «лишних людей», предпринятой Добролюбовым в статье «Что такое обломовщина?».

Герцен сосредоточивает внимание на прогрессивной исторической роли «лишних людей»: «...Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни... Наши литературные фланкеры последнего набора шпыняют теперь над этими слабыми мечтателями, сломавшимися без боя, над этими праздными людьми, не умевшими найтиться в той среде, в которой жили. Жаль, что они не договаривают,— я сам думаю, если б Онегин и Печорин могли, как многие, приладиться к николаевской эпохе, Онегин был бы Виктор Никитич Панин, а Печорин не пропал бы по пути в Персию, а сам управлял бы, как Клейнмихель, путями сообщения и мешал бы строить железные дороги. Но время Онегиных и Печориных прошло. Теперь в России нет *лишних* людей, теперь, напротив, к этим огромным запашкам рук недостает. Кто теперь не найдет дела, тому пенять не на кого, тот в самом деле *пустой* человек, свищ или лентяй. И оттого очень естественно, Онегины и Печорины делаются Обломовыми.

Общественное мнение, баловавшее Онегиных и Печориных потому, что чуяло в них *свои страдания,* отвернется от Обломовых» [41].

В статье «Лишние люди и желчевики» («Колокол», 1860, № 83, 15 октября) Герцен решительно отделяет «лишних людей» николаевского времени, которых он признает за «действительных» от современных лишних людей, «между которыми сама природа воздвигла обломовский хребет»: «лишние люди были тогда столь же *необходимы,* как *необходимо* теперь, чтоб их не было»,— заключал Герцен [42].

Различие взглядов Герцена, с одной стороны, и Чернышевского и Добролюбова — с другой, заключалось не в исторической оценке роли Печорина и других лишних людей (здесь в основном их взгляды были едины), а в правомерности сопоставления Онегина и Печорина с дворянскими либералами 50-х годов.

Добролюбов и Чернышевский подчеркивали социальную общность «лишних людей» обоих периодов и противопоставляли их «новым людям», революционерам-разночинцам. Герцен, который сам был деятелем 40-х го-

---

[41] А. И. Герцен. Собрание сочинений, т. 14. М., Изд-во АН СССР, 1958. стр. 118—119.

[42] Там же, стр. 317.

дов, защищал историческую прогрессивность Печорина — в числе других лишних людей — и считал неправомерным их сопоставление с дворянскими либералами 50-х годов.

В отличие от Белинского, а затем Чернышевского и Добролюбова, Герцен понимал Печорина несколько односторонне. В статье «Еще раз Базаров» (1868 г.) он писал: «Лермонтов летами был товарищ Белинского, он был вместе с нами в университете, а умер в безвыходной безнадежности печоринского направления, против которого восставали уже и славянофилы и мы» [43].

Эти слова о «печоринском направлении» связаны с противоречивым отношением Герцена к Лермонтову. В работе «О развитии революционных идей в России» наряду с замечательным и исторически точным портретом Лермонтова («он полностью принадлежит к нашему поколению...») содержатся строки, перекликающиеся с приведенными выше: «Лермонтов... так свыкся с отчаяньем и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения» [44].

Демократическая традиция в оценке «Героя нашего времени» была продолжена Д. И. Писаревым и Н. В. Шелгуновым. Отвергая поэтическое наследие Лермонтова, Писарев высоко оценил лермонтовскую прозу. В связи с анализом романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» («Русское слово», 1862, № 3) он стремился показать, «в каких отношениях находится Базаров к разным Онегиным, Печориным, Рудиным, Бельтовым и другим литературным типам, в которых, в прошлые десятилетия, молодое поколение узнавало черты своей умственной физиономии» [45].

Преследуя цели, близкие Добролюбову и Чернышевскому, Писарев пытался установить сходство и различие между «лишними» и «новыми» людьми, но из-за отсутствия подлинного историзма весьма упрощал взгляды своих предшественников. Он называл Онегина и Печорина «скучающими трутнями», видел между ними разницу в темпераменте: «Онегин холоднее Печорина, и поэтому Печорин дурит гораздо больше Онегина... Немножко Онегиным, немножко Печориным бывал и до сих пор бывает у нас всякий мало-мальски умный человек, владеющий обеспеченным состоянием, выросший в атмосфере барства и не получивший серьезного образования» [46].

Для Писарева Онегины и Печорины — люди, выделившиеся из массы благодаря своему уму, но не имеющие идеалов, цели в жизни. «Другие люди, умные и образованные», имеют «свой идеал», но «у этих людей за недостатком твердости дело останавливается на словах». Свое рассуждение о лишних людях и о Базарове Писарев заключает следующей формулой:

---

[43] Там же, т. 20, кн. 1, стр. 347.
[44] Там же, т. 7, стр. 224, 225.
[45] Д. И. Писарев. Сочинения, т. 2, М., Гослитиздат, 1955 стр. 15
[46] Там же, стр. 17.

«Словом, у Печориных есть воля без знания, у Рудиных — знание без воли; у Базаровых есть и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое» [47].

Особое внимание на образ Печорина обращает Писарев в статье «Реалисты» («Русское слово», 1864, № 9—11). «Печорины и Базаровы выделываются из одного материала...»; они «не похожи друг на друга по характеру своей деятельности, но они совершенно сходны между собою по типическим особенностям натуры: и те и другие — очень умные и вполне последовательные эгоисты, и те и другие выбирают себе из жизни всё, что в данную минуту можно выбрать самого лучшего...» [48]. Это сопоставление реалиста Базарова и Печорина связано с идеологическими позициями Писарева этих лет, с его попыткой противопоставить традициям русской передовой мысли вульгарный материализм. Отсюда строки: «Люди более умные, люди, подобные Лермонтову и его герою Печорину, решительно отвертывались от русского маколейства и искали себе наслаждений в любви» [49].

«Под русским маколейством» Писарев разумел деятельность «Грановских и их учеников Берсеневых»: «Печорины были во всех отношениях умнее Берсеневых, — продолжал Писарев, — и поэтому-то именно им и не оставалось никакого выхода из мира скуки и из любовных похождений... Печориным не было никакого выбора, и постоянная их праздность нисколько не может служить доказательством их умственной хилости. Даже напротив того» [50].

Отсутствие конкретно-исторического подхода во многом помешало правильно оценить «Героя нашего времени» и Н. В. Шелгунову, посвятившему образу Печорина весьма значительную часть своей статьи «Русские идеалы, герои и типы» («Дело», 1868, № 6—7).

Шелгунов утверждал, что типы, созданные Пушкиным, Лермонтовым и Тургеневым, «пусты и бесполезны», что «никакая серьезная социальная мысль не руководила этими писателями» [51].

Шелгунов писал, что в Печорине мы встречаем «тип силы, но силы искалеченной, направленной на пустую борьбу, израсходовавшейся по мелочам на дела недостойные» [52]. «...Печорина не запугаешь ничем, его не остановишь никакими препятствиями... Несмотря на свой женоподобный вид, на аристократические манеры на наружную цивилизацию. Печорин чистый дикарь, в котором ходит стихийная, несознающая себя сила, как

---

[47] Д. И. Писарев. Сочинения, т. 2, стр. 21.
[48] Там же, т. 3, стр. 28.
[49] Там же, стр. 32.
[50] Там же, стр. 32—33.
[51] «Дело», 1868, № 7, стр. 163.
[52] Там же, № 6, стр. 102.

в каком-нибудь Илье Муромце или в Стеньке Разине. Но Стенька Разин по цели своих стремлений стоит неизмеримо выше Печорина»[53].

Шелгунов объясняет характер Печорина социальными причинами, принадлежностью к аристократическому кругу: «Печорин не „герой нашего времени“, а „салонный герой“, оторванный от мира одиночка, ведущий борьбу с отдельными лицами, вместо того, чтобы бороться с принципами»[54].

5

В своей статье «Very dangerous!!!» Герцен в полемических целях объединял критику «лишних людей» в «Современнике» и в журналах умеренно-либерального лагеря. На самом деле взгляды Чернышевского и Добролюбова не имели ничего общего с этой критикой, отрицавшей прогрессивное значение образа Печорина для 40-х годов.

Так, например, для С. С. Дудышкина образы «лишних людей», и прежде всего Печорин, были глубоко чужды. Либеральный критик называл их «искателями сильных ощущений», лживыми, самонадеянными, громкими фразами закрывающими себя от всякой деятельности[55]. Главный недостаток Печорина и других «лишних людей», по его мнению, в том, что они «не гармонировали с обстановкою». Дудышкин призывал писателей к изображению людей, примирившихся с действительностью. Это и дало повод Герцену иронически сказать о Печорине, ставшем Клейнмихелем.

Ненависть Дудышкина к Печорину была настолько сильна, что он посвятил разбору этого образа значительную часть вступительной статьи к «Сочинениям Лермонтова», в которой полностью раскрыл политические мотивы своей неприязни. «В Печорине больше характера Байрона, нежели русского офицера», «Печорин теперь принадлежит к самым слабым созданиям Лермонтова». По мнению Дудышкина, успех Печорина объясняется тем, что он попал в тон в период «полнейшего отрицания жизни» в литературе 40-х годов. А это отрицание для Дудышкина неприемлемо[56].

Как уже отмечалось, в одном лагере с либералом Дудышкиным оказался теоретик чистого искусства А. В. Дружинин, иронически писавший в «Библиотеке для чтения» (1857 г.) о Печорине, как об «озлобленном» герое, сведенном с пьедестала. В том же году на страницах «Русской беседы» славянофильский критик К. С. Аксаков, повторяя в своем «Обозрении современной литературы» некоторые мысли Шевырева, назвал Лермонтова «последним русским поэтом подражательной эпохи» и усмотрел направ-

---

[53] Там же, стр. 109.

[54] Там же, № 7, стр. 154.

[55] «Отечественные записки», 1857, № 1. Отд. критики и библиографии, стр. 15.

[56] Лермонтов. Сочинения, приведенные в порядок и дополненные С. С. Дудышкиным, т. 1. СПб., 1860. Вместо предисловия.

ленность творчества поэта «в странном самодурстве, в самодовольстве сухого, холодного эгоизма, в котором окончательно выступило наружу всё сокровенное зло прежнего отвлеченного направления»[57]. Считая направление лермонтовской прозы ложным, К. С. Аксаков писал: «Юмористический рассказ, комедия,— вот, где настоящее место для Печориных, для светских страстей и страданий»[58]. Эту мысль о юморе, о гоголевском начале, которое должно противостоять лермонтовскому отрицанию, высказывал ранее А. Григорьев на страницах «Москвитянина».

По своим выводам к высказанным выше оценкам «Героя нашего времени» примыкал и А. Д. Галахов, выступивший в 1858 г. в «Русском вестнике» с обширной статьей о Лермонтове. «С нравственной точки зрения,— писал Галахов,— действия героев Лермонтова не могут быть оправданы: они безнравственны в гражданском и в общечеловеческом отношении»[59].

Конкретно-исторический и социальный подход к образу Печорина Галахов заменяет расплывчатыми положениями о «состоянии общества» в переходную эпоху «умственного и нравственного настроения европейской жизни». В «Герое нашего времени» Галахов усматривает черты руссоизма и влияние Байрона. Несмотря на явное преувеличение этих влияний, Галахову принадлежит ряд бесспорных наблюдений. По справедливому мнению новейших исследователей, в этой работе Галахова обоснованы принципы зарождающейся тогда культурно-исторической школы[60].

Своеобразную позицию в развернувшейся полемике вокруг образа Печорина стремился занять А. Григорьев. В статье «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина» («Время», 1861, № 2—5) он посвятил целый раздел «оппозиции застоя», подробно разбирая реакционные статьи Бурачка о «Герое нашего времени» и стихотворениях Лермонтова. Цитируя отрывки из «Маяка», он показывал фальшивость и абсурдность нападок на Печорина и Лермонтова со стороны Бурачка.

Во второй половине 50-х годов А. Григорьев пересматривает свои взгляды на роль личности и значение протеста[61]. В связи с этим изменилось и его отношение к образу Печорина и творчеству Лермонтова. Обращаясь к полемике 40-х годов, А. Григорьев давал понять читателям, что критика 50-х годов, развенчивающая Печорина, недалеко ушла от Бурачка.

Противоречивость позиции А. Григорьева заключалась в том, что он

---

[57] «Русская беседа», 1857, № 1. Обозрение, стр. 5.

[58] Там же, стр. 23.

[59] «Русский вестник», 1858, т. 16, стр. 612.

[60] В. А. Мануйлов, М. И. Гиллельсон, В. Э. Вацуро. М. Ю. Лермонтов. Семинарий, под ред. В. А. Мануйлова. М., Учпедгиз, 1960, стр. 46—47.

[61] Об эволюции А. Григорьева см. статью Б. Ф. Егорова «Аполлон Григорьев — критик». Статья 2 («Ученые записки Тартуского гос. ун-та», вып. 104, 1961. Труды по русской и славянской филологии, т. IV, стр. 58—83.

сопоставлял критика «Маяка» не только с реакционно-либеральной журналистикой, принижающей значение Печорина, но и с революционно-демократической критикой Чернышевского и Добролюбова.

Если Герцен в статье «Very dangerous!!!» объединял эти выступления противоположных лагерей в полемических целях, отчетливо понимая различие их взглядов, то для А. Григорьева, не поднявшегося до социального анализа, эти различия не были ясны. Противоречивость позиции А. Григорьева заключалась также и в том, что он дошел до признания правомерности протеста как выражения национальной особенности русского народа и по-новому оценил образ Печорина как раз в тот момент, когда такое признание уже не было достаточно прогрессивным, так как речь шла уже о конкретных формах протеста, о «новых людях», идущих на смену «лишнему человеку» 40-х годов.

Самым значительным трудом А. Григорьева о Лермонтове явился цикл статей «Лермонтов и его направление. Крайние грани развития отрицательного взгляда» («Время», 1862, № 10—12). Центральное место в этих статьях уделено «Герою нашего времени». Эта работа, завершившая многолетний спор А. Григорьева с Лермонтовым, до сих пор не получила правильной оценки в литературе. Характеризуя отношение критика к Лермонтову *в целом*, некоторые исследователи не учли, что А. Григорьев коренным образом изменил свои взгляды на Лермонтова по сравнению со статьями в «Москвитянине» начала 50-х годов.

Если раньше для А. Григорьева Печорин был «призраком, чуждым русскому быту» [62], то теперь характер Печорина рассматривался им как явление национальное. «Эти тревожные начала,— замечает критик,— не чужды вообще нашей народной сущности» [63].

А. Григорьев писал уже об «обаятельных» и героических сторонах Печорина: «Печорин влек нас всех неотразимо и до сих пор еще может увлекать... Ведь, может быть, этот, как женщина, нервный господин способен был бы умирать с холодным спокойствием Стеньки Разина в ужаснейших муках. Отвратительные и смешные стороны Печорина в нем нечто напускное, нечто миражное, как вообще вся наша великосветскость... основы же его характера трагичны, пожалуй, страшны, но никак уже не смешны» [64].

По-новому решает критик и вопрос о моральной ответственности Печорина: «Не на них же одних,— пишет А. Григорьев,— возложить всю вину безумной растраты сил даром, растраты на мелочи или даже на зло.

---

[62] А. Григорьев. Собрание сочинений, вып. 9, стр. 10.

[63] Там же, вып. 7, стр. 19.

[64] Там же, стр. 36. Сравнение Печорина со Степаном Разиным, очевидно, продиктовано тем, что именно с Пугачевым и Разиным связывалось в сознании Григорьева протестующее начало в русском народе (А. А. Григорьев. Материалы для библиографии, под. ред. В. Княжнина. Пг., 1917, стр. 239).

Трагическое в них, конечно, принадлежит не им, а тем силам, которые они в себе носят и безумно тратят или нелепо извращают, но во всяком случае оно есть истинно трагическое» [65].

По мнению А. Григорьева, в печоринском типе нашли яркое выражение «все „необъятные“ силы нашего духа», «наши положительные качества, наши высшие стихии». Никому еще не удалось развенчать этот тип. «Комизмом мы убили только фальшивые, условные его стороны... Еще более оказались мыльными пузырями попытки наши заменить этот тип другим, выдвинуть на его место тип положительно деятельный» [66].

Предпочтение Печорина «лишним людям» 40-х годов, в частности Бельтову, объясняется особенностями мировоззрения критика. А. Григорьев рассматривал всякого рода теории как подавление индивидуальности; он по-прежнему отрицал необходимость революционного переворота, так как считал, что жизнь и искусство определяются вечными и неизменными национальными началами.

Необходимо заметить, что правильное понимание статьи «Лермонтов и его направление» затруднялось двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что А. Григорьев порою использует отдельные части своих предшествующих статей, не приводя некоторые старые формулировки в полное соответствие со своими изменившимися взглядами. Во-вторых, А. Григорьев ставит целый ряд вопросов и решает их в самом процессе написания статьи, давая все «за» и «против» так широко, что не сразу обнаруживается основная тенденция. Поэтому особое значение имеет заключительная часть статьи, где формулируются конечные выводы.

По мнению А. Григорьева, печоринский тип остается в русской литературе не развенчанным: «Отчужденный от широкой народной жизни, постигавший ее формы только смутным, хотя гениальным чутьем, замкнутый на холодных *верхах* общежития, запертый в условнейшую сферу, художник, как художник, ищет какого бы то ни было, но определенного, осязаемого образа. И вот является Печорин; к нему прилипла вся слизь миражной жизни, и эту шелуху обивает комическая разработка. Но все-таки он — сила и выражение силы, без которой жизнь закисла бы в благодушествовании Максимов Максимовичей, в их, хотя и героической, но отрицательно-героической безответности, в том смирении, которое легко обращается у нас из высокого в баранье» [67].

Признание правомерности самого протеста и необходимости его слияния с «широкой народной жизнью» — одно из наиболее ярких прозрений А. Григорьева, в его концепции «Героя нашего времени».

Решая сходные проблемы, обратился к Лермонтову Ф. М. Достоевский.

---

65 А. Григорьев. Собрание сочинений, вып. 7, стр. 48.
66 Там же, стр. 58—59.
67 Там же, стр. 96.

Он выступил против понимания народности либеральными «Отечественными записками», которые, смешивая народность с простонародностью, отвергали народность и Онегина и Печорина. В этом вопросе Достоевский разделял мнение Белинского, развивая его аргументацию в духе своей теории «почвенничества». Согласно этому взгляду, после эпохи сближения с Европой привилегированное русское общество оказалось отделенным от народа глубокой пропастью и почувствовало необходимость обращения к народной почве.

Цивилизация была процессом самосознания русского общества. Онегин (а затем и Печорин) выразили «до ослепительной яркости именно все те черты, которые могли выразиться у одного только русского человека... в тот самый момент, когда цивилизация в первый раз ощущалась нами как жизнь, а не как прихотливый прививок, а в то же время и все недоумения, все странные, неразрешимые по-тогдашнему вопросы в первый раз со всех сторон стали осаждать русское общество и проситься в его сознание» [68].

Тип Онегина, «страдальца русской сознательной жизни», — пишет Достоевский,— «вошел, наконец, в сознание всего нашего общества и начал перерождаться и развиваться с каждым новым поколением. В Печорине он дошел до неутолимой, желчной злобы и до странной, в высшей степени оригинально-русской противоположности двух разнородных элементов: эгоизма до самообожания и в то же время злобного самонеуважения. И всё та же жажда истины и деятельности, и всё то же вечное роковое „нечего делать!“. От злобы и как будто на смех Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти» [69].

Отношение Достоевского к «Герою нашего времени» в дальнейшем резко изменилось. Это было связано с общей эволюцией его мировоззрения, с борьбой писателя против революционной идеологии, с усилением реакционных представлений о народе, которому якобы свойственны лишь смирение и религиозность. Достоевский пишет, что в России не могло быть таких «дурных людей», как Печорин, что мы «готовы были, например, чрезвычайно ценить в свое время разных дурных человечков, появлявшихся в литературных наших типах и заимствованных большею частью с иностранного». Безоговорочно осуждая роман Лермонтова, Достоевский заключает: «Вспомните: мало ли у нас было Печориных, действительно и в самом деле наделавших много скверностей по прочтении „Героя нашего времени“» [70].

Попытка общественно-исторического объяснения сменяется теперь психологическими рассуждениями о том, что в свое время привязанность

---

[68] Ф. М. Достоевский. Книжность и грамотность. Статья первая. «Время», 1861, № 7; Критическое обозрение, стр. 40—41.

[69] Там же, стр. 43.

[70] Ф. М. Достоевский. Сочинения, т. 11. М.— Л., 1929, стр. 180—181.

русских людей к печоринскому типу была якобы связана с восполнением отсутствующего у народа качества «прочной ненависти». А это качество, по мнению Достоевского, как раз народу и не нужно. Таким образом, в «Дневнике писателя» воскрешаются самые реакционные взгляды на лермонтовский роман.

6

Если реакционная точка зрения на «Героя нашего времени» была высказана Достоевским в «Дневнике писателя» с полной отчетливостью, то для либерально-буржуазных критиков 80—90-х годов характерно сочетание реакционных воззрений на роман Лермонтова со всякого рода оговорками, маскирующими политический смысл их взглядов.

Так, например, в монографии о Лермонтове Н. А. Котляревского (1891 г.), несмотря на общие рассуждения о «духе времени» и «переходной эпохе в жизни общества», полностью отсутствует конкретно-исторический анализ «Героя нашего времени».

По мнению либерального ученого, Печорин «не цельный тип, не живой организм», а «скорее тип единичный, чем собирательный», он не мог называться героем своего времени, «не был Онегиным своего времени». Эти положения Н. А. Котляревского были направлены против статьи Белинского, стремившегося подчеркнуть типичность Печорина, против взглядов, высказанных Лермонтовым в предисловии ко второму изданию романа.

Весьма характерен для либерального критика следующий прием: расходясь с Белинским в главном, он развивает слабую сторону его статьи о «Герое нашего времени». Образ Печорина рассматривается им как «отражение одного момента в духовном развитии писателя», за которым должно последовать примирение.

Отсутствие истинного понимания Лермонтова обнаруживает Котляревский в педантическом разборе душевных качеств и характера Печорина. Оказывается, главный порок Печорина в том, что у него нет «желания стать в нормальное положение к окружающей жизни», «для него не существует никаких вопросов жизни» и т. п.

Концепцию Н. А. Котляревского в основных чертах, а порою даже в тех же формулировках, повторил другой представитель культурно-исторической школы в литературоведении — А. Н. Пыпин. Для него «Герой нашего времени» — также всего лишь отрывок из незавершенного большого замысла, а Печорин — лишь отражение противоречий внутреннего мира самого писателя.

«Лермонтов,— пишет Пыпин,— изображал внутреннюю борьбу, совершавшуюся в нем самом, борьбу сильной личности или властного духа с условиями ограниченной жизни или, в частности, с условиями общест-

[71] А. Н. Пыпин. История русской литературы, т. IV. СПб., 1913, стр. 551.

ва» [70]. Заметим также, что А. Н. Пыпин, игнорируя общую концепцию Добролюбова, выраженную в статье «Что такое обломовщина?», односторонне использовал вырванную из контекста формулировку и заявил, что для Добролюбова Печорин был лишь вариацией типа Обломова.

Иную интерпретацию романа, по сравнению с представителями культурно-исторической школы, дал П. А. Висковатый, ученый, близкий к официозно-консервативным научным кругам. Характеризуя «Героя нашего времени», П. А. Висковатый утверждал, что никак нельзя «винить Лермонтова за то, что люди его поколения, а, пожалуй, и следовавшего за ним поколения, приняли сатиру его за идеал...» [72]. Исследователь стремился доказать, что лермонтовская сатира не доходила «до крайних граней», так как, отрицая явления современной ему жизни, поэт «далеко не негативно относился к вечным вопросам и задачам жизни». Однако эти «струны положительного» Висковатый прежде всего видел в религиозных мотивах, которые, по его мнению, получили развитие в лирике Лермонтова последних лет.

Висковатый выступил против отождествления Лермонтова и Печорина. Чтобы объяснить отмеченное современниками сходство писателя со своим героем, он писал о Лермонтове: «Ударившись молодым человеком в Петербурге в общественную жизнь, он скоро стал сознавать всю мелочность и тщету ее и выражать это в своих произведениях... бичуя современников, он бичевал и себя, такого, каким был он, когда шел с ними одною дорогою» [73].

Диссонансом в юбилейной литературе 1891 г. прозвучал голос критика-народника Н. К. Михайловского, подчеркнувшего в статье «Герой безвременья» («Русские ведомости», 15 июля и 8 августа 1891 г.) действенное, протестующее, героическое начало в творчестве Лермонтова. Через всю статью Михайловского проходит мысль о Лермонтове-борце, страдающем в эпоху безвременья от невозможности приложить свои «необъятные силы». Михайловский сравнивает в этом отношении Лермонтова с Печориным. Однако подлинного анализа «Героя нашего времени» Михайловский не смог дать, потому что все творчество Лермонтова он рассматривал как иллюстрацию к народнической теории «героя и толпы». «С ранней молодости, можно сказать с детства, и до самой смерти,— писал Михайловский,— мысль и воображение Лермонтова были направлены на психологию прирожденного властного человека...» [74]. Одним из таких властных людей, стремившихся подчинить себе окружающих, и был, по Михайловскому, Печорин.

---

[72] П. А. Висковатый. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 363.

[73] Там же, стр. 361.

[74] Н. К. Михайловский. Полное собрание сочинений, т. V. СПб., 1908, стр. 315—316.

Взаимоотношения лермонтовского героя и общества получили у Михайловского антропологическое объяснение: «Действовать, бороться, покорять сердца, так или иначе оперировать над душами ближних и дальних, любимых и ненавидимых — таково призвание или коренное требование натуры всех выдающихся действующих лиц произведений Лермонтова, да и его самого» [75].

Михайловский подчеркивал индивидуализм Печорина и других лермонтовских героев, причем видел в этом норму поведения. Взгляды Михайловского были шагом назад по сравнению с оценкой творчества Лермонтова революционными демократами.

7

К «Герою нашего времени» обращалась и декадентская критика начала XX века.

Д. С. Мережковский создал мистический портрет Лермонтова — посланца из потустороннего мира, решающего религиозно-философские проблемы в духе самого Мережковского. В соответствии с этим критик-декадент произвольно интерпретировал лермонтовский роман, ставя при этом знак равенства между Печориным и Лермонтовым. Раздвоение Печорина, по его мнению, объясняется извечной борьбой между светом и тьмой, «необъятные силы» Печорина, его сознание своего высокого назначения, «фатализм», игра со смертью — неземным происхождением, отношение к Вере — «омерзением к христианскому браку» и т. п.[76]

Роман Лермонтова, проникнутый глубоким историзмом, поднимающий самые острые общественно-политические вопросы, рассматривается Мережковским в полном отрыве от реальности, от каких-либо общественных проблем.

Об упадке либерально-буржуазной критики начала XX в. свидетельствует и труд представителя другого ее крыла. Пропагандист психологического метода в литературоведении Д. Н. Овсянико-Куликовский видел в Печорине автопортрет писателя, воспроизводящий «важнейшие стороны натуры Лермонтова, склад его ума, его психологическое отношение к людям, его социальное самочувствие» [77].

Определяющим фактором, по мнению Овсянико-Куликовского, являются врожденные качества Печорина, прежде всего «эгоцентризм». Однако «условия общества» и «духа времени» не дают возможности Печорину обратиться к общественной деятельности, и поэтому у него обнаружива-

---

[75] Н. К. Михайловский. Полное собрание сочинений, т. V, стр. 315—316.

[76] Д. С. Мережковский. Лермонтов, поэт сверхчеловечества. СПб., 1909, стр. 26—27, 45—46, 63—66, 78.

[77] Д. Н. Овсянико-Куликовский. М. Ю. Лермонтов. К столетию со дня рождения великого поэта. М., 1914, стр. 72.

ются «уклоны в патологическую сторону». Печорин — это «картина болезни» эгоцентризма и вместе с тем «патология собственной души Лермонтова». Лермонтовские слова о «болезни» в предисловии к «Герою нашего времени» Овсянико-Куликовский истолковывает как аномалию личности Печорина. Психологическое критик отрывает от социального. По его мнению, общество не обусловливает характер человека, а лишь влияет на развитие врожденных качеств. Стремясь искусственно примирить свои взгляды с традициями русской демократической критики, Овсянико-Куликовский не утверждает, подобно Котляревскому, что образ Печорина фальшив и нетипичен. Он признает типичность Печорина, но лишает это понятие общественного смысла. Типичность Печорина, по Овсянико-Куликовскому, в широком распространении подобной болезни, в том, что подобные индивидуальности «в психологии людей 30—40-х годов встречаются не редко» [78]. Отсюда и скудность выводов: Лермонтов — «прирожденный меланхолик», а его художественное творчество — средство выхода из меланхолии.

Анализу образа Печорина посвящена пятая глава труда Овсянико-Куликовского «История русской интеллигенции». Отдельные правильные наблюдения и верные мысли (об общности психологии Печорина и передовых представителей русской интеллигенции 30-х годов) обесцениваются субъективно идеалистической общей концепцией этой книги. На вопрос «кто виноват?» в том, что лишние люди становятся таковыми, либеральный критик отвечает: «...отсутствие культуры и умственной традиции, в силу чего даровитый человек не получает надлежащей выдержки в труде...» [79].

Несмотря на фразы о «социальном самочувствии», психологическая критика Овсянико-Куликовского уводила читателей от реальных противоречий, раскрытых в лермонтовском романе, и в этом отношении смыкалась с рассуждениями Мережковского.

Демократические традиции в оценке творчества Лермонтова в начале XX в. получили развитие в книге П. А. Кропоткина. Находясь много лет в эмиграции, он прочел небольшой курс лекций по русской литературе, опираясь, как это указано им в предисловии, на труды Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, а также современных ему литературных критиков-народников.

Кропоткин дал характеристику «Героя нашего времени» в духе революционно-демократической критики. Он подчеркнул прогрессивный смысл лермонтовского пессимизма, связанного с «могущественным протестом против всего низменного в жизни»: «Печорин — смелый, умный, предприимчивый человек, относящийся с холодным презрением ко всему окружа-

---

[78] Там же, стр. 87.

[79] Д. Н. Овсянико-Куликовский. Собрание сочинений, т. VII, М., 1924, стр. 105.

ющему. Он, несомненно, незаурядный человек и стоит выше пушкинского Онегина; но он прежде всего — эгоист, расточающий свои блестящие способности во всякого рода безумных приключениях, всегда так или иначе имеющих подкладкой любовь... Таковы были герои нашего времени, и мы должны признать, что в данном случае мы имеем дело не с карикатурой. В обществе, свободном от материальных забот (в эпоху Николая I, при крепостном праве) и не принимающем никакого участия в политической жизни страны, талантливые люди, не находя исхода своим силам, часто бросались в омут приключений, подобно Печорину» [80].

Взгляды Кропоткина не были новым словом в оценке лермонтовского романа. Однако самый факт издания «Истории русской литературы», опирающейся на передовые традиции русской критики, был весьма своевременным. Не случайно эта книга была напечатана в издательстве товарищества «Знание», руководимом М. Горьким.

8

Новый этап в изучении Лермонтова и его романа открывает Г. В. Плеханов, обосновавший с марксистских позиций необходимость исторического подхода к изучению творчества Лермонтова.

В статье «Столетие со дня рождения Белинского» (1911 г.) Плеханов писал: «Искусство обязано своим происхождением общественному человеку, а этот последний изменяется вместе с развитием общества. Стало быть, понять данное художественное произведение значит не только понять его основную идею, но и выяснить себе, почему идея эта интересует людей — хотя, быть может, и немногих людей, — данного времени». Плеханов выясняет исторические обстоятельства, при которых возникли стихотворения «Бородино» и «Дума»: «Для разрешения этого вопроса надо будет вспомнить, что Лермонтов родился в октябре 1814 г. и что, следовательно, ему пришлось провести свою юность в таком обществе, которое было совершенно подавлено реакцией, очень усилившейся после неудачи известного движения декабристов...» [81].

В подготовительных работах о Белинском Плеханов отмечал, что в статье «Герой нашего времени», «несмотря на все рассуждения, *историческое* значение Печорина не понято. Характер Печорина объясняется с точки зрения личной психологии... Печорин страдает оттого, что еще не примирился с действительностью. Оно и так, да не так. Ему примириться с действительностью было то же самое, что Александру Македонскому сде-

---

[80] П. А. Кропоткин. Идеалы и действительность в русской литературе. Перевод с английского В. Батуринского, под ред. автора. СПб., 1907, стр. 66—68.

[81] Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. 1. М., Гослитиздат, 1958, стр. 384.

латься канцелярским писцом»[82]. Таким образом, Плеханов углубил критику этой статьи, предпринятую в свое время Чернышевским.

В статье «Литературные взгляды Белинского» (1897 г.) Плеханов отметил противоречивый характер статьи Белинского о «Герое нашего времени»: «Белинский категорически заявляет там, что искусство нашего века есть воспроизведение разумной действительности. У него выходит, что Печорин страдает только потому, что еще не примирился с этой действительностью... Впоследствии, совершенно перейдя на диалектическую точку зрения, он лучше понял *общественное* значение лермонтовского творчества, но на *художественную* его сторону он продолжал смотреть так же, как смотрел и прежде»[83].

Изучая историю литературы и общественной мысли «с точки зрения взаимных отношений и взаимного влияния общественных классов», Плеханов в статье «А. И. Герцен и крепостное право» (1911 г.) высказывает мысль «о роли крепостной передней» в деле нравственного развития тех «представителей „отрицательного" направления нашей общественной мысли, которые происходили из дворянской среды». «Укажу на Лермонтова,— пишет Плеханов,—... не это ли тесное общение забросило в его душу *первые* семена того „отрицательного" настроения, которое впоследствии так своеобразно развилось, — вернее было бы сказать: так своеобразно *недоразвилось*,— в ней?»[84].

Плеханов считал, что в отличие от Герцена и Белинского свободолюбивые идеи Лермонтова не получили развития вследствие одиночества поэта, отсутствия кружка единомышленников: «В его поэзии преобладает нота индивидуального протеста гордой и независимой личности против пошлой общественной среды»[85].

В подготовительных работах к этому труду Плеханов писал: «Пример Лермонтова... К чему бы привело, если бы все были таковы? К тому, чем стал Лермонтов или Печорин. „Одиночество в кругу зверей вредно"»[86] Стремление Плеханова объяснить творчество Лермонтова отражением народных интересов и настроений было безусловно плодотворным. Однако Плеханов ограничивал это воздействие «крепостной передней», не учитывал всей глубины влияния народной жизни на писателя.

---

[82] «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, стр. 149. (Заметка Плеханова на отдельном листе: «О Лермонтове. Герой нашего времени»); см. также его заметки о Лермонтове в связи с чтением книг Иванова-Разумника и А. Волынского (там же, стр. 74 и 175).

[83] Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. 1. М., 1958, стр. 351—352.

[84] Там же, стр. 206.

[85] Там же, стр. 208.

[86] «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI, стр. 39 (последние слова — цитата из дневника А. И. Герцена); ср. суждения Плеханова о Лермонтове в связи с чтением романа С. Пшибышевского «Homo sapiens» (там же, стр. 383—385).

Недостатки подхода Плеханова к истории литературы и творчеству Лермонтова в большей мере проявились в его характеристике Пушкина, Лермонтова, Тургенева как бытописателей дворянских гнезд, не выступающих против основ господствующего строя, а лишь критикующих его отрицательные стороны.

В речи, посвященной 25-летию со дня смерти Н. А. Некрасова (изданной отдельной брошюрой за границей в 1903 г. и вошедшей в 1905 г. в сборник Плеханова «За двадцать лет») Плеханов говорил: «Поэзия и вся изящная литература предшествовавшей общественной эпохи была у нас преимущественно *поэзией высшего дворянского сословия*...

Что такое Евгений Онегин? Образованный русский дворянин „в гарольдовом плаще". Что такое Печорин? Тоже образованный дворянин и в том же плаще, только на другой лад скроенном...».

«Дворянская точка зрения» Пушкина, Лермонтова и Толстого, по мнению Плеханова, заключалась не в защите сословных привилегий («Совсем нет! Эти люди были по-своему очень добры и гуманны, а угнетение крестьян дворянами резко осуждалось — иногда, по крайней мере,— некоторыми из них»), а в том, что они изображали дворянский быт «не со своей отрицательной стороны,— т. е. не с той стороны, с которой обнаружилось бы противоречие интересов дворянства с интересами крестьянства. ⟨...⟩ Отношения этих людей к подчиненному им сословию или совсем обходились или изображались одной-двумя чертами. «...Мы совсем не знаем, например, как относился к своим крестьянам Печорин» [87].

Отношение к Лермонтову, как писателю «высшего дворянского сословия», указание на то, что Лермонтов обошел в «Герое нашего времени» крестьянский вопрос,— все эти суждения, органически вытекающие из историко-литературной концепции Плеханова, объективно приводили к неправильной оценке значения дворянских писателей в развитии русского революционно-освободительного движения. Только на основе ленинского учения о трех периодах в развитии русского революционно-освободительного движения, ленинской теории отражения стало возможным глубокое марксистское освещение творчества Лермонтова и его романа.

Традиции революционных демократов и Плеханова в их оценке Лермонтова были развиты в лекциях М. Горького по истории русской литературы, прочитанных им в 1909 г. в партийной школе на острове Капри.

Горький подчеркнул в творчестве Лермонтова действенное начало,

---

[87] Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. I, стр. 190—191. В конспекте речи о Некрасове Плеханов писал: «До него наша поэзия, и вообще изящная литература... была литературой высшего класса: *дворянской* литературой. Евгений Онегин Пушкина, Печорин Лермонтова. Они дворяне с ног до головы... Это не значит, что они отстаивали дворянские привилегии. Нет, но их герои — дворяне» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI. М., Соцэкгиз, 1938, стр. 233).

«жадное желание дела, активного вмешательства в жизнь», раскрыл прогрессивное общественное значение пессимизма Лермонтова [88]. В лекциях Горького, посвященных Лермонтову, центральное место занимает анализ образа Печорина, его сравнение с Лермонтовым.

Сопоставляя беседу Печорина и Вернера со стихотворением «И скучно и грустно», Горький писал: «И снова мы видим полное совпадение чувств и мысли автора с чувствами и мыслью его героя. Нам важно знать, что Онегин — портрет Пушкина, а Печорин — Лермонтова...» [89].

Вместе с тем Горький считает, что в «Герое нашего времени» между автором и героем уже нет полного слияния: «Печорин был для него слишком узок; следуя правде жизни, поэт не мог наделить своего героя всем, что носил в своей душе, а если б он сделал это — Печорин был бы неправдив.

Иначе говоря, Лермонтов был и шире и глубже своего героя; Пушкин еще любуется Онегиным, Лермонтов уже относится к своему герою полуравнодушно. Печорин близок ему, поскольку в Лермонтове есть черты пессимизма, но пессимизм Лермонтова — действенное чувство, в этом пессимизме ясно звучит презрение к современности и отрицание ее, жажда борьбы и тоска и отчаяние от сознания одиночества, от сознания бессилия. Его пессимизм весь направлен на светское общество» [90].

Возвращаясь к характеристике Печорина, Горький отметил, что «Печорину и Онегину чужды так называемые социальные вопросы, они живут узко-личной жизнью, они оба сильные, хорошо одаренные люди и поэтому не находят себе места в обществе».

Во взглядах Горького на дворянскую литературу и творчество Лермонтова отразилась плехановская концепция, развитая в цитированной выше речи Плеханова о Некрасове. Образы Онегина и Печорина Горький связывал с «дворянской самокритикой». «Каким образом дети крепостников дошли до поклонения рабам отцов своих и своим: одним словом, посмотрим, как барин изображал сам себя в литературе» [91]. Так формулировал свою задачу Горький, характеризуя роман Лермонтова.

9

Положение о типичности Печорина для своего времени, выдвинутое Белинским, получило глубокое конкретно-историческое осмысление лишь в советском литературоведении. Образ центрального героя романа в лучших из новейших работ о Лермонтове стал рассматриваться во всей его

---

[88] М. Горький. История русской литературы, стр. 159—160; см. также П. Л. Бродский. Горький о Лермонтове. Горьковские чтения. 1947—1948. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949, стр. 323—336.

[89] М. Горький. Указ. соч., стр. 159.

[90] Там же, стр. 164—165.

[91] Там же, стр. 156.

сложности и противоречивости как отражение важнейших противоречий русской действительности 30-х годов XIX в.

Значительный вклад в изучение «Героя нашего времени» внес крупнейший советский лермонтовед Б. М. Эйхенбаум, обращавшийся к проблематике и текстам этого романа на протяжении многих лет. Уже в ранней его работе «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки» (Л., 1924) «Герой нашего времени» рассматривается как «синтез» тех исканий в области новой повествовательной формы, которые были так «характерны для русской беллетристики тридцатых годов». Большой фактический материал, тщательно собранный и оригинально освещенный в этой книге Б. М. Эйхенбаума, получил еще более широкое и новое освещение в позднейших работах исследователя.

В обстоятельнейших комментариях Б. М. Эйхенбаума к «Герою нашего времени» (сочинения Лермонтова в изданиях Academia, т. V, 1937; Гослитиздата, т. IV, 1940; Академии наук СССР, т. VI, 1957) впервые была критически освещена творческая история романа, изучены его тексты, установлена его окончательная редакция. Художественная форма романа Лермонтова анализировалась в этих комментариях в тесной связи с его идейным содержанием. Под этим же углом зрения охарактеризован был «Герой нашего времени» и в исследовании Б. М. Эйхенбаума «Литературная позиция Лермонтова» («Литературное наследство», т. 43—44, 1941). Одной из основных частей этой работы являлось установление живых и непосредственных связей романа с программными стихотворениями Лермонтова 1837—1839 гг.

Обращая внимание на лермонтовскую оценку Печорина, заключенную, по словам самого поэта, в названии его книги, Б. М. Эйхенбаум писал: «Заглавие, действительно, звучит иронично, и иначе его нельзя понять: „Вот каковы герои *нашего* времени!“ Это заглавие заставляет вспомнить строки „Бородина“, на которые обратил внимание Белинский: „Да, были люди в *наше время,* не то, что нынешнее племя: богатыри — не вы!“ Однако ирония этого заглавия обращена, конечно, не против самой личности героя, а против „нашего времени“, это ирония „Думы“ и „Поэта“. Именно так следует понимать уклончивый ответ автора предисловия: „Не знаю“. Это значит: „Да, злая ирония, но направленная не на Печорина самого по себе, а на вас, читатель, и на всю современность“» [92].

Вопрос об общественно-политическом значении романа с особенной остротой был поставлен и разрешен Б. М. Эйхенбаумом в статье о «Герое нашего времени», печатающейся в настоящем издании [93].

Глава о «Герое нашего времени» в книге Л. Я. Гинзбург «Творческий

---

[92] «Литературное наследство», т. 43—44, 1941, стр. 652.

[93] В сокращенной редакции статья эта, под названием «О смысловой основе „Героя нашего времени“», опубликована в журнале «Русская литература» (1959, № 3).

путь Лермонтова» (Л., 1940) характеризовала роман как важнейший этап на пути Лермонтова от романтизма к реализму, как произведение, в котором ярко объективировался трагический образ протестующего героя, носителя философии своей эпохи.

В 1940 г. вышла в свет книга С. Н. Дурылина «„Герой нашего времени“ М. Ю. Лермонтова». Несмотря на то, что работа эта была построена как «учебное пособие», она и сейчас не утратила значения, даже для специалистов, как лучший реальный комментарий к роману Лермонтова.

Плодотворное влияние на изучение «Героя нашего времени» оказала статья Н. И. Мордовченко «Лермонтов и русская критика 40-х годов» [94], опубликованная в лермонтовском томе «Литературного наследства» (т. 43—44). Взгляды Белинского здесь впервые рассматривались в их историческом развитии, с учетом их политической направленности и литературно-эстетической значимости.

Новый и весьма плодотворный подход к изучению особенностей стиля и композиции «Героя нашего времени» заключался в статье В. В. Виноградова «Стиль прозы Лермонтова» («Литературное наследство», т. 43—44). Характеризуя словесно-художественную структуру романа, специфику его стиля и языка персонажей, В. В. Виноградов показал, как стиль «Героя нашего времени» связан с развитием национального литературного языка и с становлением реализма в русской литературе конца 30-х — начала 40-х годов.

В юбилейном томе «Литературного наследства» была напечатана и статья Б. В. Томашевского «Проза Лермонтова и западноевропейские литературные традиции». В отличие от дореволюционных компаративистских трудов [95] «Герой нашего времени» рассматривался советским исследователем как явление русской национальной литературы и в то же время как факт литературы мировой.

Место «Героя нашего времени» в истории русской художественной прозы правильно показано было в 1947 г. в статье А. Г. Цейтлина «Из истории русского общественно-психологического романа» («Историко-литературный сборник», М., 1947).

---

[94] Статья эта вошла в книгу Н. И. Мордовченко «Белинский и русская литература его времени» (М.— Л., 1950). Ценнейшим пособием для изучения «Героя нашего времени» является также сборник: «В. Г. Белинский. М. Ю. Лермонтов. Статьи и рецензии». Вступительная статья и примечания Н. И. Мордовченко. Л., Гослитиздат, 1941.

[95] Итоговой работой о «Герое нашего времени» была в этом отношении книга С. И. Родзевича «Лермонтов как романист» (Киев, 1914). Отдельные образы, мотивы и фразы романа Лермонтова сопоставлялись Родзевичем с произведениями французских романтиков: «Рене» Шатобриана, «Адольфом» Бенжамена Констана, «Исповедью сына века» Мюссе. По-видимому подошел украинский ученый к анализу «Героя нашего времени» в статье: «Шлях Лермонтова до прози» — «Літературна критика», 1939. № 8—9.

Итоги изучения «Героя нашего времени» наиболее полно подведены в богатой оригинальными наблюдениями книге Е. Н. Михайловой «Проза Лермонтова» (М., 1957). В том же году появилась статья С. А. Бах «Работа М. Ю. Лермонтова над языком романа „Герой нашего времени“ («Ученые записки Саратовского государственного университета», т. LVI, 1957, стр. 83—98).

Из работ, посвященных частным проблемам творческой истории «Героя нашего времени», особенно значительны исследования Д. Д. Благого «Лермонтов и Пушкин (проблема историко-литературной преемственности)», Н. И. Бронштейн «Доктор Майер» и И. Л. Андроникова «Лермонтов в Грузии в 1837 году». В первом из них дано развернутое сопоставление «Евгения Онегина» с «Героем нашего времени» [96]; во втором на основании тонкого анализа документальных и мемуарных материалов пересмотрен вопрос о прототипе доктора Вернера — Н. В. Майере, человеке лично близком Лермонтову, Сатину, Огареву и многим декабристам [97]; в книге И. Л. Андроникова впервые введены были в научный оборот интереснейшие сведения о кавказских впечатлениях Лермонтова, получивших отражение в его романе [98].

В общих и специальных курсах истории русской литературы, вышедших в последние годы, заслуживают внимания страницы о «Герое нашего времени» в главах о творчестве Лермонтова, написанных В. А. Мануйловым, А. Н. Соколовым и Б. В. Нейманом [99].

---

[96] «Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Исследования и материалы». М. Гослитиздат, 1941.

[97] «Литературное наследство», т. 45—46, 1948.

[98] И. Андроников. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., 1955, стр. 115—129; 176—177; 198—202; 224. Изд. 2-е, Тбилиси, 1958.

[99] «История русской литературы», т. VII. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1955, стр. 341—362; А. Н. Соколов. История русской литературы, т. 1. М., Изд. Моск. ун-та, 1960, стр. 736—748; «История русской литературы XIX века», под ред. Ф. М. Головенченко и С. М. Петрова, т. 1. М., Учпедгиз, 1960, стр. 315—322.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ О «ГЕРОЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Вот книга, которой суждено никогда не стариться, потому что при самом рождении ее она была вспрыснута живою водою поэзии! Эта старая книга всегда будет нова.

В. Г. Белинский

С. Т. Аксаков

Я прочел Лермонтова «Героя нашего времени» в связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова Ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца.

Из письма С. Т. Аксакова к Н. В. Гоголю (1840 г.) — С. Т. Аксаков. Собрание сочинений, т. 3. М., Гослитиздат, 1956, стр. 191—192.

В. К. Кюхельбекер

В последние дни прочел я... «Героя нашего времени» ⟨...⟩

Лермонтова роман — создание мощной души: эпизод «Мери» особенно хорош в художественном отношении; Грушницкому цены нет,— такая истина в этом лице; хорош в своем роде и доктор; и против женщин нечего говорить... а всё-таки! Всё-таки жаль, что Лермонтов истратил свой талант на изображение такого существа, каков его гадкий Печорин.

«Дневник В. К. Кюхельбекера» (запись от 8 августа 1843 г.). Редакция, введение и примечания В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Л., 1929, стр. 290.

Н. В. Гоголь

Никто еще не писал у нас такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою. Тут видно больше углубленья в действительность жизни — готовился будущий великий живописец русского быта...

Н. В. Гоголь. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность («Выбранные места из переписки с друзьями», 1846 г.) — Полное собрание сочинений, т. 8. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 402.

И. А. Гончаров

...Чацкий, как личность, несравненно выше и умнее Онегина и Лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те — паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век — и в этом все его значение и весь «ум».

И Онегин, и Печорин оказались неспособны к делу, к активной роли, хотя оба смутно понимали, что около них все истлело. Они были даже «озлоблены», носили в себе и «недовольство» и бродили как тени с «тоскующею ленью». Но презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали ни бороться с ним, ни бежать окончательно. Недовольство и озлобление не мешали ⟨...⟩ Печорину блестеть интересной скукой и мыкать свою лень и озлобление между княжной Мэри и Бэлой, а потом рисоваться равнодушием к ним перед тупым Максимом Максимычем: это равнодушие считалось квинт-эссенцией дон-жуанства. Оба томились, задыхались в своей среде, и не знали, чего хотеть...

И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». (Критический этюд)», 1872 г.— Собрание сочинений И. А. Гончарова, т. VIII, М., 1955, стр. 13—14.

И. С. Тургенев

...Из Пушкина целиком выработался Лермонтов, та же сжатость, точность и простота. Но у Лермонтова кое-где проглядывает рисовка, он как будто красуется ⟨...⟩. В «Княжне Мэри» есть точно отголосок французской манеры. За то какая прелесть «Тамань»!

А. Л⟨уканина⟩. Мое знакомство с Тургеневым. Записи 1878—1883 гг.— «Северный вестник», 1887, № 2, стр. 54.

Л. Н. Толстой

...Лев Николаевич перевел как-то разговор на значение и роль формы в искусстве:

— Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразным, то также — и их форма. Как-то в Париже мы с Тургеневым вернулись домой из театра и говорили об этом, и он совершенно согласился со мной. Мы с ним припоминали все лучшее в русской литературе, и оказалось, что в этих произведениях форма совершенно оригинальная. Не говоря уже о Пушкине, возьмем «Мертвые души» Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное. Потом «Записки охотника»,— лучшее, что Тургенев написал. Достоевского «Мертвый дом», потом, грешный человек — «Детство», «Былое и думы» Герцена, «Герой нашего времени»...

А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого (Запись от 28 июля 1902 г.). М., Гослитиздат, 1959, стр. 116. Об «очень большом» впечатлении, произведенном на него в юности романом Лермонтова, особенно «главою „Тамань"», Л. Н. Толстой писал 25 октября 1891 г. М. М. Ледерле. В сб.: «Л. Н. Толстой о литературе». М., Гослитиздат, 1955, стр. 259.

А. П. Чехов

...Может быть, я и не прав, но лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка», не говоря уж о прозе других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой.

Письмо к Я. П. Полонскому 18 января 1888 г.— А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. 14. М., Гослитиздат, 1949, стр. 18.

...Больше всего, А⟨нтон⟩ П⟨авлович⟩ хвалил язык Лермонтова. «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова,— говорил он не раз.— Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать».

С. Н. Щукин. Из воспоминаний об А. П. Чехове. В сб. «Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1960, стр. 462.

⟨Чехов⟩ любил разговоры о литературе. Говоря о ней, часто восхищался Мопассаном, Флобером, Толстым. Особенно часто он говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

Не могу понять,— говорил он,— как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!

И. А. Бунин. Чехов. В сб.: «Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1960, стр. 514.

...Да не-ет! — отмахиваясь от меня, как от табачного дыма, сердился Чехов.— Вы совсем не то цените в Горьком, что надо. А у него действительно есть прекрасные вещи. «На плотах», например. Помните? Плывут в тумане... ночью... по Волге... Чудесный рассказ! Во всей нашей литературе я знаю только еще один такой, это «Тамань» Лермонтова...

А. Серебров (Тихонов). О Чехове. В сб.: «Чехов в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1960, стр. 650.

«Где тонко, там и рвется» написано в те времена, когда на лучших писателях было еще сильно заметно влияние Байрона и Лермонтова с его Печориным; Горский ведь тот же Печорин. Жидковатый и пошловатый, но всё же Печорин.

Письмо к О. Л. Книппер 24 марта 1903 г.— А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. 20. М., Гослитиздат, 1951, стр. 77.

А. Н. Толстой

...Лермонтов-прозаик — это чудо, это то, к чему мы сейчас, через сто лет, должны стремиться, должны изучать лермонтовскую прозу, должны воспринимать ее как истоки великой русской прозаической литературы.

...Лермонтов в «Герое нашего времени», в пяти повестях: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист», связанных единым внутренним сюжетом — раскрытием образа Печорина, героя времени, продукта страшной эпохи, опустошенного, жестокого, ненужного человека, со скукой проходящего среди величественной природы и простых, прекрасных, чистых сердцем людей,— Лермонтов в пяти этих повестях раскрывает перед нами совершенство реального, мудрого, высокого по стилю и восхитительно благоуханного искусства.

Читаешь и чувствуешь: здесь всё — не больше и не меньше того, что нужно и как можно сказать. Это глубоко и человечно. Эту прозу мог создать только русский язык, вызванный гением к высшему творчеству. Из этой прозы — и Тургенев, и Гончаров, и Достоевский, и Лев Толстой, и Чехов. Вся великая река русского романа растекается из этого прозрачного источника, зачатого на снежных вершинах Кавказа.

Речь на торжественном заседании памяти М. Ю. Лермонтова (15 октября 1939).— А. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13. М., Гослитиздат, 1949, стр. 427—428.

Н. С. Тихонов

И сейчас, когда прошло почти сто лет с тех пор, как были написаны и «Мцыри» и «Герой нашего времени», мы не можем без внутренней тревоги читать стихи и прозу этого юноши — «странствующего офицера, да еще с подорожной по казенной надобности».

Чудо, с которым мы соприкасаемся, в это время состоит в том, что простота их внешнего покрова скрывает так много смысла, за которым открываются для каждого какие-то его собственные глубочайшие, неповторимые ощущения, что невозможно не быть ими пораженным.

В чем тайна этой прозы, которую Чехов предлагал изучать, как разбирают в школах,— по предложениям, по частям предложения?

В чем тайна этого стиха, неровного по исполнению и по вдохновению, но всегда насыщенного лихорадочным огнем, энергией исступленного холода? Так блестели правдой боя зловещие клинки во мраке валерикского леса.

«Правда всегда была моей святыней» — однажды пылко написал Лермонтов среди строк официального документа.

И он хотел совместить в одной правде поэта, современника, гражданина, прозаика, обвинителя и обвиняемого, приняв на себя вину за «бедный век» и «горькую поэзию». Видения фантастического мира были на службе у реалиста, и каждодневная жизнь стала черновиком повести такой реальной, что изображенная в стихах очередная битва стала мучительной поэмой...

Не будем забывать, что всё время мы имеем дело с юношей, и мрачный Печорин, ставший нарицательным демоном поколений, в пору своего романа имеет всего двадцать пять лет, а Грушницкий всего двадцать один год, а княжне Мери не больше девятнадцати.

Стихийные силы протеста жили, как в вулкане, в широкоплечем и негодующем человеке, и невероятная приподнятость его ощущений была естественна.

Век не тот! Живи он в наш эпический, грозный, гремящий над всем миром век,— он бы нашел себе тему по плечу, он, вызывавший к жизни богатырей, увидел бы их воочию, порождённых великой советской действительностью...

Проза его благоуханна, как сказал Гоголь. Основные элементы ее живы и посейчас, и сейчас русская речь, став еще богаче и гибче, может дать новеллы, родственные «Тамани» по прозрачности и легкости, почти колдовской лиричности, где снова пройдет ночное море, гроза, девушка и новый путешественник, в положениях, не повторяющих бессмертные страницы короткого лермонтовского рассказа.

Н. С. Тихонов. Заметки писателя. В сб.: ***М. Ю.*** *Лермонтов в русской критике. М., Гослитиздат,* ***1955,*** *стр. 280—282.*

БИБЛИОГРАФИЯ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Библиография составлена на основе фондов Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Библиотеки Академии наук СССР, Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы, Фундаментальной библиотеки общественных наук Академии наук СССР. с учетом специальных библиографий, посвященных переводам произведений русских писателей на иностранные языки, а также национальных библиографий и материалов, сообщенных национальными библиотеками некоторых зарубежных стран.

При работе над библиографией составитель стремился к возможной полноте в учете переводов, независимо от того, вышли ли они в виде книги или были опубликованы в периодических изданиях.

Б. Л. Кандель

Албанский язык

Një hero i kohës sonë. E përktheu: Sotir Caci. Tiranë, Ndërmarrja shtetërore e botimeve, 1955. 240 l.

Mihail Lermontovi (1814—1841) — с. 3—10.

Перевод сделан с французского издания «Un héros de notre temps». Moscou, 1947.

Английский язык

Sketches of Russian life in the Caucasus. By a Russe, many years resident amongst the various mountain tribes. [Transl. from the Russian]. London, Ingram, Cook and Co., 1853. 315 p. («The illustrated family novellist», № 2).

Вольный перевод романа «Герой нашего времени» с изменением имен; «Тамань» не переведена.

The hero of our days. From the Russian by Theresa Pulszky. London, Hudgson, [1854]. 232 p. («The parlour library». Vol. 112).

Preface — p. 5—7. «Фаталист» не переведен.

A hero of our own times. From the Russian. Now first transl. into English. London, Bogue, 1854. 231 p., ill.

Brief notice of Michael Lermontof — p. 1—3.

Первое полное издание романа.

A hero of our time. Transl. from the Russian with life and introd. by R. I. Lipmann. London, Ward and Downey, 1886. XXVIII, 272 p.

«Фаталист» не переведен.

A hero of our time. Transl. from the Russian by R. I. Lipmann. London, Vizetelly, [1887]. XXVIII, 272 p.

Life of M. U. Lermontoff — p. VII—XXVIII.

«Фаталист» не переведен.

Taman.— В кн.: Tales from the Russian. Dubrovsky by Pushkin. New year's eve by Gregorowitch. Taman by Lermontoff. London, The Railway and general automatic library, [1891], p. 229—251.

Russian reader. Lermontof's Modern hero, with English translation and biographical sketch by Ivan Nestor Schnurmann. Cambridge, Univ. press, 1899. XX, 403 p.

Biographical sketch — p. IX—XX.

Параллельно русский текст и английский перевод. «Фаталист» не переведен.

Maxim Maximich.— В кн.: Wiener L. Anthology of Russian literature. T. 2, part 2. London — N. Y., 1903, p. 157—164.

Рассказ дан с сокращениями.

The heart of a Russian. Transl. from the Russian by J. H. Wisdom and Marr Murray. London, Herbert and Daniel, 1912. VII, 335 p.

The heart of a Russian. Transl. from the Russian by J. H. Wisdom and Marr Murray. London — N. Y. — Toronto, Hodder and Stoughton, [1916]. [VII], 335 p.

The duel. Excerpt from The hero of our own time. Transl. by T. Pulszky.— В кн.: A Russian anthology in English. Ed. by C. E. B. Roberts. N. Y., 1917, p. 124—137.

A traveling episode.— В кн.: Little Russian masterpieces. Chosen and transl. from the original Russian by Z. A. Ragozin, with an introd. and biographical notes by S. N. Syromiatnikoff. Vol. 1. N. Y., Putnam, 1920, p. 165—198.

Отрывок из «Героя нашего времени».

A hero of our time. Transl. by J. H. Wisdom and Marr Murray. N. Y., Knopf, 1924. 265 p.

Перепечатка издания «The heart of a Russian». London, 1912.

A hero of nowadays. Transl. by John Swinnerton Phillimore. London, Nelson, 1924.

Taman'.— В кн.: Chamot A. Selected Russian short stories. Chosen and transl. by A. E. Chamot. London, 1925—1928, p. 84—97.

A hero of our time. Transl. by Reginald Merton. With a foreword by D. S. Mirsky. London, Allan, 1928. 247 p.

Fatalist. Story. Transl. by G. A. Miloradowitch.— В кн.: «Golden book magazin». Vol. 8. N. Y., 1928, p. 491—493.

A hero of our own times. Transl. by Eden and Cedar Paul from the Russian for the Lermontoff centenary. London, Allen and Unwin, 1940. 283 p.

Bela. Transl. from the Russian by Z. Shoenberg and J. Domb. London, Harrap, 1945. 124 p.

Текст на русском и английском языках.

A hero of our time. Transl. from the Russian by Martin Parker. M., Foreign languages publ. house, 1947. 224 p., ill.

A hero of our time. Transl. from the Russian by Martin Parker. Ill. D. Shmarinov and V. Komarov. M., Foreign languages publ. house, 1951. 175 p., ill. («Classics of Russian literature»).

То же. 1956.

A hero of our times. Transl. from Russian by Martin Parker. London, «Collet's Holdings», 1957. 174 p., ill.

A hero of our own times. Transl. from the Russian by Eden and Cedar Paul. With an introd. by Maurice Bowra. London — N. Y., Oxford Univ. press, 1958. XIX, 284 p. («The worlds classics»).

A hero of our time. A novel. Transl. from the Russian by Vladimir Nabokov in collab. with Dmitri Nabokov. Garden City, N. Y., Doubleday, 1958. XI, 216 p. («Doubleday anchor books»).

Fair smuggler.— В кн.: «Masterpiece library of short stories». Vol. 12. London, s. a.

Контрабандист. [Тамань]. Отрывок из романа «Герой нашего времени».

Арабский язык

[Герой нашего времени]. [Послеслов. И. Андроникова. Пер. Сами ад Друби. Илл.: Д. Шмаринов и В. Комаров]. М., Изд. лит. на иностр. яз., 1959. 191 с. с илл. («Классики русской литературы»).

Язык бенгали

[Герой нашего времени]. [Послесловие И. Андроникова. Пер.: Камакхп Прошад Чоттопадхяй. Илл.: Д. Шмаринов и В. Комаров.] М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958. 190 с. с илл. («Классики русской литературы»).

Болгарский язык

Герой на нашето време. Прев. Т. Странски. Пловдив, печ. «Единство», 1888. II, 166 с.

Историята на една любов. Прев. Ив. Д. К. Изд. Цаню Николов. Търново, Печ. на Церовски, 1908. X, 158 с.

Любовта на офицера с красивата черкезка. Роман. Прев. от руски. Пловдпв, Изд. «Хр. Ботев», 1914. 38 с.

Любовта на офицера. Роман. Прев. Радин. Пловдив, Димитров, 1917. 33 с.

Герой на нашето време. Прев. Людмил Стоянов. Изд. 2-е, поправ. София, Паскалев, 1917. 240 с. («Всемирная библиотека». № 71—74).

Герой на нашето време. Роман. Прев. Людмил Стоянов. Изд. 3-е, поправ. София, Паскалев, [1920]. 190 с. («Всемирная библиотека». № 71).

Герой на нашето време. (Роман). Прев. на Димитр Бабев. София, «Цвет», 1920. 213 с. (Библиотека «Цвет». № 66).

Красивата черкезка. Роман. Пловдив, «Сполука», [1925]. 32 с.

Герой на нашето време. Роман. Прев. Людмил Стоянов. Изд. 4-е. София, [1925]. 248 с. («Всемирная библиотека». № 71).

Герой на нашето време. Роман. Прев. Людмил Стоянов. София, Игнатов, [1928]. 203 с. («Библиотека за всички». № 13).

Герой на нашето време. Роман. Прев. от рус. Христо Радевски. София, «Народна култура», 1934. 190 с.

Герой на нашето време. Роман. Прев. Людмил Стоянов. Киев — Харков, Държ. изд. на нац. малцинства в УССР, 1936. 191 с.

Герой на нашето време. Роман. Прев. от оригинала Иван Калчев. София, печ. «Радикал», 1937. 184 с. (Библиотека «Световни писатели». № 9).

Герой на нашето време. Прев. Димитр Бабев. Изд. 2-е. София, Чипев, [1938]. 183 с. («Библиотека класически писатели». Кн. 4).

Герои на нашето време. Роман. Прев. от оригинала Иван Калчев. София. печ. Бр. Миладинови, [1939]. 184 с. (Библиотека «Световни писатели». № 9).

То же. [1942].

Герой на нашето време. Прев. Христо Радевски. София, «Хемус», 1942. 189 с.

Белински за «Герой на нашето време» — с. 5—16.

Герой на нашето време. Прев. Т. Тодоров. София, «Глобус», 1944. 188 с.

Герой на нашето време. [Прев. Людмил Стоянов].— В кн.: Лермонтов М. Съчинения. Пълно събрание в 5 тома. Т. 5. София, Игнатов, [1945], с. 123—316.

Герой на нашето време. Прев. Х. Левенсон. София, «Народна просвета», 1949. 191 с.

Герой на нашето време. Роман. Прев. от рус. Христо Радевски. София, «Народна култура», 1954. 192 с.

Венгерский язык

Korunk höse. Regény. Ford.: Falk Zsigmond, Vajda János.— «Magyar Sajtó», 1855, № 88—144.

Taman. Elbeszélés. Ford.: Ogor.— «Magyar Posta», 1857, № 62—66.

Taman. Orosz beszély. Oroszból ford. Blazievics Theoktisz.— «Hazánk s a Külföld», 1867, 1. köt, l. 291—293, 307—310, 322—324.

Taman. (Elbeszélés). Ford.: S. J.— «Fővárosi Lapok», 1878, № 93—95.

Korunk höse. Regény. Orosz eredetiböl ford. Ruby Miroszláv, Timkó Iván. Budapest, «Athenaeum», 1879. 214 l.

Korunk höse. Orosz korrajz. Ford. Szabó Endre. Voinovich Géza bevezetö tanulmányával. Budapest, Révai, 1906. XII, 178 l. («Klasszikus regénytár»).

Korunk höse. Orosz eredetiböl ford.: Havas András Károly. Budapest, «Anonymus», 1944. 222 l.

Korunk höse. Regény. [Ford. Aprily Lajos. Budapest], Uj Magyar Könyvkiadó, 1956. 257 l. (Olcsó könivtár, 1956. 14).

Голландский язык

Een held van onzen tijd. Novelle. Uit het Russisch vert. door Annie de Graaff. Amsterdam, Maas en van Suchteren, 1908.

Een held van onzen tijd. Uit het Russisch vert. en ingel. door Aleida G. Schot. Amsterdam, «Wereldbibliotheek», 1940. 293 blz.

Een held van onze tijd. Uit het Russisch vert. en ingel. door Aleida G. Schot. 3-e dr. Amsterdam, «Wereldbibliotheek», 1951. 176 blz. («De Wereldboog». № 5).

Een held van onze tijd. Vert. uit het Russisch en ingel. door Aleida G. Schot. 4-e dr. Amsterdam, «Wereldbibliotheek», 1953. 176 blz. («Wereldboog». № 5).

Греческий язык

O iroas tis epochis-mas. Metafrasi: G. Kanonidi, G. Fotiadi. Rostob-Nton, «Komunistis», 1935. 96 c.

Enas ērōas tēs epokhēs mas. Metafrasi: Ioannēs Sfakianakis. Athēnai, «Klassika Vilvia», 1950. 176 c.

Датский язык

Fyrstinde Mary. Kjøbenhavn, Salomon, 1855. 105 s. («Dagbladets» Feuilleton).

Michael Lermontoff, s. 3—6.

Vor tids helt. En fortoelling. Med et tilloeg, indeholdende en mindre fortaelling og et par fragmenter af samme forfatter. Efter det Russiske ved E. M. Thorson. Kjøbenhavn, Lunds Forlag, 1856. 381 s.

«Фаталист» не переведен.

Vor tids helt. Overs. af W. Gerstenberg. København og Kristiania, 1897.

Vor tids helt. Overs. fra russisk af W. Gerstenberg. København, Martin, 1909. 171 s.

Vor tids helt. (1839—1840). København, «Athenaeum», 1944. 216 s.

Vor tids helt. Overs. fra russisk af Erik Horskjaer. København, Reitzel, 1959. 141 s. («Hans Reitzels Serie». 8).

Испанский язык

Un heroe de nuestro tiempo. Trad. del ruso por G. Portnof. Madrid, Fraud, 1918. 257 p. («Colleccion Granada». T. 2).

El héroe de nuestro tiempo. Trad. del ruso por Luis A. Vargas y Lidia Kuper. Il. de D. Shmarinov y de V. Komarov. Notas de I. Andronikov. Moscu, Edic. en lenguas extranjeras, 1954. 185 p. il. («Obras clásicas de la literatura rusa»).

Итальянский язык

L'eroe dei nostri giorni. Trad. di Gustavo Strafforello. Milano, Sonzogno, 1886. 151 p.

L'eroe del nostro tempo. Trad. di A. Polledro. Laniano, Carabba, 1927. 2 vol. («Scrittori italiani e stranieri». № 251—252).

Un eroe del nostro tempo. Torino, Casa ed. A. B. C., 1933. 243 p.

L'eroe de tempi nostri. Firenze, Salani, 1934. 80 p.

Un eroe dei nostri tempi. Trad. di Maria Mari e Bruno Del Re. 2-a ed. Milano, Bompiani, 1945. 256 p.

1-a ed.: Milano, 1943.

Un eroe dei nostri tempi. Versione di G. D[onnini].— В кн.: Lermontov M. J. La principessa Ligovskaja.— Un eroe dei nostri tempi.— Vadim.— Ascik Kerib.— Menschen und Leidenschaften.— Due fratelli. A cura di G. Donnini. Roma, Casini, 1950, p. 17—161. («I grandi maestri», 5).

Un eroe del nostro tempo. Trad. di Clara Terzi Pizzorno. Milano, Rizzoli, 1950. 168 p.

Un eroe del nostro tempo. Trad. dal testo originale russo a cura di Paola Cometti. Torino, Unione tip. ed. torinese, 1953. 213 p.

Китайский язык

[Бэла]. Пер. Ю У. Шанхай, 1907—1914. 4 издания.

[Герой нашего времени]. Пер. Ян Линь. Шанхай, 1930. 355 с.

[Герой нашего времени]. Пер. Чжай Сун-нянь. Шанхай, 1950. 263 с.

[Герой нашего времени]. Пер. Чжай Сун-нянь. Пекин, 1957. 170 с.

Корейский язык

[Герой нашего времени]. Пер. Ли Се Хи. Б. м., «Чоссо чхульпханса», 1956. 265 с.

Македонский язык

Герој на нашето време. Прев. од руски Крум Кепески. Скопје, Државно книгоизд. на Македонија, 1948. 154 с.

Херој на нашето време. [Прев. Борис Марков]. Скопје, «Кочо Рацин», [1954]. 250 с. («Библиотека светски класици»).

Б. М[арков]. Михаил Лермонтов (1814—1841) — с. 237—247.

Монгольский язык

[Герой нашего времени]. Улан-Батор, Улсын хэвлэлийн газар, 1958. 163 с.

Немецкий язык

Bela. Aus den Papieren eines russischen Offiziers über den Kaukasus. (Aus dem Russischen des Michael Lermontoff).— В кн.: Varnhagen von Ense K. A. Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften. 2. Aufl. Bd. 6. Leipzig, Brockhaus, 1843, S. 298—355.

Первое издание книги вышло в 1840 г.

Ein Abenteuer aus dem Kaukasus — eine Episode aus dem beliebten russischen Roman «Der Held unserer Zeit» von Lermentow (!) [Übers. von A. Mettlerkamp].— «Originalien aus dem Gebiete der Wahrheit, Kunst, Laune und Phantasie». Hamburg, 1841, Sept.— Okt., № 113—119.

Отрывок из «Бэлы».

Gräfin Maria. Novelle. Aus Petschorins Tagebuch. Dem Russischen nacherzählt von A. Mettlerkamp.— «Originalien aus dem Gebiete der Wahrheit, Kunst, Laune und Phantasie». Hamburg, 1842, Mai — Juli, № 60—84.

Без упоминания имени автора.

Taman. Aus dem Russischen des Lermentov (!) von A. Mettlerkamp.— «Originalien aus dem Gebiete der Wahrheit, Kunst, Laune und Phantasie». Hamburg, 1842, Aug.— Sept., № 100—104.

Taman.— Der Fatalist.— Fürstin Mary.— В кн.: Freiherr von Budberg-Benningshausen R. Aus dem Kaukasus. Nach Lermontoffschen Skizzen. Berlin, «Berliner Lesekabinett», 1843, S. 1—294.

Petchorin, oder Ein Duell im Kaukasus. Aus den hinterlassenen Papieren eines russischen Offiziers, herausg. von Lermontoff. Frankfurt am Main, «Literarische Anstalt», 1845. 416 S.

Der Held unserer Zeit. Kaukasische Lebensbilder. Aus dem Russischen übers. von August Boltz. Berlin, Schultze, 1852. [VIII], 242 S.

Vorwort — S. [VII—VIII]. «Фаталист» не переведен.

Der Held unserer Zeit. Aus dem Russischen von G. F. W. Rödiger. Pest, Wien und Leipzig, Hartleben, 1855. 208 S. («Neues belletristisches Lesekabinett der besten und interessantesten Romane aller Nationen in sorgfältiger Übersetzung». Lief. 220—222).

Der Fatalist. Novelle. Zum Übers. aus dem Deutschen ins Russische bearb. von A. Boltz.— В кн.: Sammlung auserlesener Romane und Lustspiele zum Übersetzen ins Russische, Französische und Deutsche. № 5. Berlin, Mittler, 1859, S. 5—22.

Bela. [Bilder aus dem Kaukasus].— В кн.: Pentameron. Bilder aus Rußland und dem Kaukasus von Lermontoff, Druschinin, Golosoff, Michailoff und Gogol. Bd. 1. Leipzig, Kollmann, 1868, S. 1—269.

Предисловие автора и «Фаталист» не переведены.

Ein Held unserer Zeit. Deutsch von Wilhelm Lange. Leipzig, Reclam, [1878]. 209 S. («Universal-Bibliothek». № 968—969).

Der Held unserer Zeit. [Übers. von G. F. W. Rödiger]. Wien, Pest, Leipzig, Hartleben, [1894]. 191 S. («Collection Hartleben. Eine Auswahl der hervorragendsten Romane aller Nationen». Jahrg. 3. Bd. 15).

Ein Held unserer Zeit. Ein Roman. [Übertr. von Michael Feofanoff]. Leipzig, Insel-Verlag, 1906. [2], 256 S.

Ein Held unserer Zeit. Übers. von Arthur Luther.— В кн.: Lermontow M. Werke. Herausg. von A. Luther. Leipzig, Bibliogr. Institut, 1922, S. 183—365. («Mayers Klassiker Ausgaben»).

Einleitung des Herausgebers — S. 185—190.

Ein Held unserer Zeit. Deutsch von Arthur Luther. Holzschnitte von W. Wasjutin. München, Orchis Verl., 1922. 180 S. («Der russische Mensch». Bd. 5).

Ein Held unserer Zeit. Roman. Deutsch von Johannes Guenther. München, Drei Masken Verl., [1923]. 189 S. («Russische Bibliothek»).

Ein Held unserer Zeit. [Bela.— Taman]. Durchges. Auszug von Herwarth Walden. Engels, Deutscher Staatsverl., 1935. 66 S. («Schulbibliothek»).

То же. 1936.

Ein Held unserer Zeit. [Deutsch von S. Ellenberg u. M. Süssmann]. Kiew, Staats-verl. d. nat. Minderheiten d. USSR, 1938. 180 S.

Der Held unserer Zeit. Übertr. von Fega Frisch. Herrliberg, Zürich, Bühl-Verl., [1945]. 242 S.

Ein Held unserer Zeit. Aus dem Russischen von Erich Müller-Kamp. Nachwort von Heinrich Lützeler u. Erich Müller-Kamp. Recklinghausen, Bitter, 1947. 266 S. («Die großen Dichter»).

Taman. Wien, Leinmüller, 1947. 33 S. (Zwei-Sprachen-Bücher. Russisch-deutsch. 3). Текст на русском и немецком языках.

Ein Held unserer Zeit. Aus dem Russischen übertr. von Lothar Gürgens. Berlin, Steuben-Verl., [1947]. 183 S.

Der Fatalist. Berlin, Steuben-Verl., 1947. 20 S. («Steuben-Blätter», 9).

Ein Held unserer Zeit. Übers. von Johannes von Guenther. Potsdam, Rütten und Loening, 1948. 257 S. («Romanreihe»).

Ein Held unserer Zeit. [Übers. von Johannes von Guenther]. Berlin, Verl. der Nation, 1952. 224 S.

Ein Held unserer Zeit. Berlin, Verl. der Nation, 1953. 224 S. («Roman für alle». Neue Folge, 19).

Petschorin. Ein Held unserer Zeit. Roman. Aus dem Russischen übers. von Erich Müller-Kamp. Nachwort von Heinrich Lützeler. Hattingen (Ruhr), Hundt-Verl., 1953. 303 S. («Werke der Welt»).

Ein Held unserer Zeit. Aus dem Russischen übertr. von Johannes von Guenther. Leipzig, Reclam, 1955. 236 S. («Reclams Universal-Bibliothek». № 968—969a).

Ein Held unserer Zeit. Berlin, Verl. der Nation, 1956. 244 S.

Ein Held unserer Zeit. Roman aus dem Kaukasus. Ins Deutsche übertr. von Erich Müller-Kamp. Mit einer Einl. von Heinrich Lützeler. München, Goldmann, 1959. 181 S. («Goldmanns gelbe Taschenbücher». Bd. 585).

Норвежский язык

Fyrstinde Mary. Overs. av Helge Krog. Kristiania, Erichsen, 1915. 112 s. («Uke-Serie». № 61).

Vår tids helt. Overs. til norsk av Nicolai Geelmuyden. Oslo, Gyldendal, 1959. 199 S. («Gyldendals gyldne bibliotek»).

Персидский язык

[Герой нашего времени]. Тегеран, 1952. 246 с. с илл.

Польский язык

Tamań. Ustęp z romansu Lermontowa pod tytułem Bohater naszego wieku.— «Денница. Словянское обозрение». Варшава, 1843, ч. 1, с. 17—25.

Bohater naszych czasów. Przeł. z Rossyjskiego na język Polski Teodor Köen. T. 1—2. Warszawa, Unger, 1844. T. 1. [5], 159 s. T. 2. 238 s.

Pojedynek na Kaukazie. Z pamiętników oficera rossyjskiego przez L[eszka] B[orkowskiego]. Lwów, Jabłoński, 1848. 167 s.

«Княжна Мери».

Bohater naszych czasów. Powieść.— В кн.: Lermontów M. Wybór pism. Przeł. przez Czesława Mąkowskiego a poprzedzony wstępem krytycznym Wł. Spasowicza. Warszawa, Lewental, 1890, s. 51—176. («Biblioteka najceln. utworów literatury europejskiej. Literatura Ruska»).

Księżniczka Mary. Powieść. Przeł. Wiktor Luboradzki. Złoczów, Zuckerkandl, [1893]. 136 s. («Biblioteka powszechna». № 105—106).

Bohater naszych czasów. Romans. Przeł. Wiktor Luboradzki. Złoczów, Zuckerkandl, [1896]. 142 s. («Biblioteka powszechna», № 183—184).

Bohater naszych czasów. Tlum. Wiktor Luboradzki. Złoczów, Zuckerkandl, [1923]. 142 s.

Bohater naszych czasów. Tłum. Wiktor Luboradzki. Łódź, 1949. 229 s.

Bohater naszych czasów. Przeł. Wiktor Luboradzki. Wilnius, Państ. wyd. lit. pięknej Litewskiej SRR, 1952. 203 s.

Bohater naszych czasów. Tłum. Wacław Rogowicz. Posłowiem opatrzył Leon Gomolicki. Warszawa, Państw. Inst. wyd., 1954. 188 s.

Португальский язык

A princesa Maria. Trad. de Alberto de Oliveira. Lisboa, Pereira, 1905.

Румынский язык

Fatalistul. Nuvelă. Trad. de Ion Marchesiu.— «Familia», v. 10, 1874, 14 apr.— 5 mai, № 15—18, p. 174—175, 186—187, 198—199, 207—209.

Bela, istorie circasiană.— «Timpul», v. 2, 1877, 1—25 ian., № 13—19.

Bela.— «Romînia liberă», v. 4, 1880, 21—31 ian., № 793—801.

Mary (din jurnalul lui Peciorin).— «Romînia liberă», vol. 4, 1880, 7 febr.— 16 martie, № 806—839.

Fatalist.— «Cîntarul», v. 1, 1885, 4 apr., № 4, p. 2—3; 18 apr., № 6, p. 2—3.

Taman. Trad. de V. G. Morţun.— «Contemporanul», vol. 4, 1885—1886, 15 noiemb.— 1 ian., № 20—21, p. 776—782.

Fatalistul.— «Steaua Dunării», vol. 2, 1898, 2 iunie — 5 iulie, № 46—48, p. 2.

Un erou al timpului nostru. Roman. Trad. de B. Marian. Craiova, 1903. 251 p.

Un erou al timpului nostru. Roman.— «Lectura», vol. 1, 1906, № 1, p. 32—52; 1907, № 3, febr., p. 153—161; № 4, martie, p. 226—236; № 5, apr., p. 296—307; № 6, mai, p. 318—328; № 7, iunie, p. 394—405 № 9, aug.— sept., p. 539—550.

Eroul vremurilor noastre.— «Ordinea», vol. 1, 1908, 26 octomb.— 1909, 20 ian, № 270—335.

Taman. Trad. de B. Marian.— «Drapelul», vol. 9, 1909, 10 martie, № 28, 14 martie, № 30.

Taman. Schiţă din: Un erou al timpului nostru. Trad. de Gh. D. Belinschi.— «Epoca». 1909, 11—16 octomb., № 235—239.

Un erou al timpului nostru. Roman. Trad. de B. Marian. Bucureşti, Ed. Alcalay, [1925]. 285 p. («Biblioteca pentru toţi». № 435—436a).

Bela. Trad. de B. Marian. Bucureşti, Ed. Eminescu, [1927]. 48 p. («Romanele alese»).

Un erou al timpului nostru. Cu o pref. de Al. Philippide. Trad. din limba rusă de Paul Ancel. Bucureşti, «Cartea rusă», [1946]. 181 p. («Clasicii ruşi»).

Ed. 2-a, revăzută de Al. Philippide. Bucureşti, «Cartea rusă», 1949. 141 p.

Ed. 3-a. Bucureşti, ARLUS, «Cartea rusă» şi E. S. P. L. A., 1953. 192 p. («Biblioteca pentru toţi»).

Fatalistul.— В кн.: Nuvele. Trad. din limba rusă de Elena Eftimiu. Bucureşti, «Fundaţia pentru literatură şi artă», 1946.

Сербско-хорватский язык

Тамань.— В альманахе «Авала», 1846, с. 136—150.

Перевод сделан с немецкого языка. Имя автора оригинала не указано.

Fatalista.— «Neven», 1852, № 32, с. 509—511; № 33, с. 522—526.

Юнак нашег доба. Роман.— «Седмица», т. 5, 1856, № 73, 81, 91, 100, 108, 116, 126, 131, 140, 148, 155, 165, 171, 182, 190, 195, 203.

О переводе см. в книге: Заболотский П. А. Очерки русского влияния в славянских литературах нового времени. Т. 1, ч. I. Варшава, 1908, с. 398—400.

Јунак нашега доба. Прев. с рускога Ђорђе Поповић. Нови Сад, Еписк. печ., 1863. 260 с.

Јунак нашега доба. Панчево, Јовановић, б. г. 328 с.

Јунак нашега доба. Прев. с рускога. Ђорђе Поповић. Ново изд. [Вып. 1—2]. Панчево, Јовановић, б. г. [1880?]. 157 с. («Народна библиотека». Св. 78, 82).

Таман, приповетка из руског живота. Прев. М. Н. Стоисильевић. Београд, 1880.

Тамань. Прев. Вук. Иванишевићева.— «Босанска Вила», 1895, 15 окт., № 19, с. 294—295; 30 окт., № 20, с. 305—310.

Јунак нашег доба. (Бела). С рус.— «Радикалац», т. 11, 1903, № 21—36.

Јунак нашег доба. (Максим Максимовић). С рус.— «Радикалац», т. 11, 1903, № 38—39. (Окончания нет).

Јунак нашег доба. (Из Печориновог дневника). С рус. М. Јадрановић — Приморац.— «Српска ријеч», т. 6, 1910, № 178.

Junak našeg vremena. S ruskog prev. Milan Bogdanovič. Zagreb, «Narodna knjižnica», 1918. 148 s.

Јунак нашег доба. Прев. Милош С. Московљевић. Београд, Српска књижевна задруга, 1921. 162 с.

Junak našeg doba. Prev. Milan Bogdanovič. Zagreb, Nakladni zavod Hrvatske, 1947. 193 s.

Јунак нашег доба. Прев. М. Московљевића.— В кн.: Љермонтов М. Ј. Проза. Београд, «Просвета», 1948, с. 179—327.

Јунак нашег доба. Прев. Милорад Јончић. Сарајево, Џепна књига 1958, 283 с.

Словацкий язык

Tamaň. Povest'. Prel. Zorovit.— «Sokol», т. 5, 1866, s. 178—183.

Tamaň. Povest'. Prel. Bohuš Nosák Nezabudov.— «Orol», т. 8, 1877, s. 77—84.

Fatalista. Povest'. [Prel. Bohuš Nosák Nezabudov].— «Orol», т. 8, 1877, s. 279—281, 301—303.

Bela. Prel. B[ohdana] Š[kultéti].— «Slovenske pohl'ady», т. 12, 1892, s. 478—490, 527—538.

Maxim Maximovič. Prel. B[ohdana] Š[kultéty].— «Slovenske pohl'ady», т. 12, 1892, s. 601—607.

Kňažná Meri. Prel. Bohdana Škultéty.— «Slovenské pohl'ady», т. 30, 1910, s. 449—501.

Hrdina našich časov. Prel. Bohdana Škultéty. Turč. Sv. Martin, Matica slovenská, 1933. 202 s. («Prekladova knižnica Matice slovenskej». Sv. 2).

Lásky pána Pečorina. Hrdina našich čias. 1839—1841. Prel. Viliam Závora. Trnava, Gerdelán, 1946. 195 s. (Edícia «Literárna družina». Sv. 1).

Fatalista. Prel. Starý.— «Ciel'», 1949, № 64, s. 5.

Hrdina našich časov. Prel. Zora Jesenská.— В кн.: Lermontov M. J. Próza. Bratislava, «Tatran», 1950, s. 7—123. («Edícia svetových klasikov». Sv. 8).

Hrdina našich čias. Prel. Zora Jesenská.— В кн.: Lermontov M. J. Kňažná Ligovská. Hrdina našich čias. Maškarný ples. Bratislava, Slovenské vyd. krásnej literatury, 1959.

Словенский язык

Junak našega časa. Poslovenil J. P[intar]. Ljubljana, «Narodna Tiskarna», 1883. 264 s. Первоначально перевод публиковался в газете «Slovenski narod».

Турецкий язык

Zamanimizin bir kahramani. [Герой нашего времени]. Ceviren: Avni Jnsel. Istanbul — Ankara, Hilmi, 1940. 235 s.

Zamanimizin kahramani. [Герой нашего времени]. Servet Lunel tarafindan tercüme edilmiştir. Ankara, Matbaasi, 1944. X, 230 s. («Dünya edebiyatin dan tercümeler. Rus. Klâsikleri». 14).

Язык урду

[Герой нашего времени]. Пер.: Кхадиджа Азим. Илл.: Д. Шмаринов и В. Комаров. М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958. 221 с. с илл.

Финский язык

Aikamme uros. Wenäjän kielestä suomensi M. Wuori. Helsingissä, Holm, 1882. 172 s.

Bela. Kaukaasialainen kertomus. Suomentanut S. L. Helsinki, Weilin, 1907. 58 s.

Aikamme sankari. Romaani. Suomentanut Oskari Kostiainen. Helsingissä, Kustannusosakeyhtiö Otava, 1927. 182 s.

Aikamme sankari. Romaani. Suomennos. Leningrad, Valtion kustannusliike Kirja, 1935. XXVIII, 193 s.

Aikamme sankari. Suomennos. Petroskoi, Karjalais — Suomalainen valtion kustannusliike, 1951. 159 s. («Venäläisiä klassikoita»).

Французский язык

Un héros du siècle ou Les russes dans le Caucase. Trad. du russe par A. A. Stolypine.— «Démocratie pacifique», Paris, 1843, v. 1, 29 sept.— 4 nov., № 60—64, 66—69, 73—78, 80—81, 89—91, 94, 96.

Характеристику перевода см. в статье: Шульц В. К. Лермонтов в переводе французских писателей. 1842—1875.— «Рус. старина», 1883, т. 37, февр., с. 458.

Une saison de bains au Caucase. Extrait de Lermontoff par Léouzon le Duc. Paris, Labitte, 1845. XV, 300 p.

«Княжна Мери».

Вольный перевод с пропусками. Характеристику перевода см. в статье Шульца, с. 458—462.

Nouvelles russes. I. Blanche.— «L'Illustration», Paris, t. 8, 1846, 26 sept., № 187, p. 58—59; 3 oct., № 188, p. 74—75; 10 oct., № 189, p. 90—91.— II. Maxime Maximitch.— 17 oct., № 190, p. 106—107; III. Introduction.— Taman.— 24 oct., № 191, p. 122—123; IV. La princesse Mary.— 31 oct., № 192, p. 138—139; 7 nov., № 193, p. 154—155; 14 nov., № 194, p. 170—171; 21 nov., № 195, p. 186—187; 28 nov., № 196, p. 202—203; 5 déc., № 197, p. 214—215; V. Le fataliste.— 26 déc., № 200, p. 266—267.

Имена Лермонтова и переводчика не указаны.

Bela, ou Un héros de notre époque. Nouvelle circassienne.— Maxime Maximitch.— Taman.— La princesse Mary.— Le fataliste.— В кн.: Choix de nouvelles russes de Lermontof, Pouchkine, von Wiesen etc. Trad. du russe par J. N. Chopin. Paris, Reinwald, 1853, p. 1—202.

То же: Nouvelle édition. Paris, Reinwald, 1873. Béla, ou Un héros de notre époque — p. 1—202.

Характеристику перевода см. в статье Шульца, с. 463—466.

Petchorine, ou Un héros d'aujourd'hui. Scènes de la vie russe dans le Caucase. Trad. de Edouard Scheffter.— «Le Mousquetaire. Journal de Alexandre Dumas». Paris, 1855, 23 janv.— 18 févr., № 23—27, 29, 31—35, 37—44, 46—49.

Предисловие М. Ю. Лермонтова и «Фаталист» не переведены.

Характеристику перевода см. в статье Шульца, с. 466—469.

Un héros de notre temps. I. Bela.— II. Maxime Maximitch.— III. Mémoires de Petchorine: 1. Taman.— 2. La princesse Marie.— В кн.: Au bord de la Néva. Contes russes traduits par X. Marmier. Un héros de notre temps.— Le manteau.— La pharmacienne. Paris, Lévy, 1856, p. 5—208.

Lermontof — p. 1—4.

То же: Nouvelle édition. Paris, Lévy, 1865.

Переиздание вышло под заглавием: Contes russes. Paris, Calman-Lévy, 1889.

Не переведены: Предисловие М. Ю. Лермонтова и «Фаталист».

Lermentof (sic!). Un duel à mort. [Trad. du Comte E. de Lonlay]. Paris, Cournol, 1863. 64 p. («Romans populaires de tous les pays»).

«Княжна Мери».

Перевод — перефразировка перевода Шопена в книге: Choix de nouvelles russes, 1853. Характеристику перевода см. в статье Шульца, с. 470—472.

Taman. [Trad. de A. V.].— «Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche», 1880, 9 oct., № 41 («Littérature russe»).

Имя автора повести не указано.

Un héros de notre temps. Récits: Béla.— Maxime Maximitch.— Taman.— La princesse Marie.— Le fataliste.— Le démon, poème oriental. Trad. du russe par A. de Villamarie. Paris, Giraud, [1884]. XII, 355 p.

Un héros de notre temps — p. 1—312; Avant-propos — p. VII—XII.

Nouvelle édition. Paris, Savine, 1887. XII, 355 p.

Deuxiéme édition. Paris, Stock, 1904. XII, 355 p. («Bibliothéque cosmopolite», № 13).

Troisième édition. Paris, Stock, 1922. XII, 355 p.

Un héros de notre temps. La princesse Marie. [Trad. par A. de Villamarie]. Avec notice littéraire et biographique par Charles Simond. Paris, Gautier, 1888. 32 p. («Nouvelle bibliothèque populaire»).

Notice biographique et littéraire — p. 1.

Un héros de notre temps. Trad de Boris de Schloezer. Paris, La Pléiade, 1926. 228 p. («Les auteurs classiques russes»).

Le fataliste. Trad. de Boris de Schloezer.— В. кн.: De Pouchkine à Tolstoï, contes et

nouvelles traduites par Hélène Iswolsky, Henri Mongault et Boris de Schloezer. Paris, «La Pléiade, 1930.

Le héros de notre temps. Trad. par J.-M. Abelsen et B. Cholot. Notes de Wellé et Strouve. Paris, Libr. Mercure, 1945. 192 p.

Un héros de notre temps. Roman. Trad. de Pierre Josse. Paris, Ed. du Chêne, 1946. 256 p.

Introduction — p. 7—13.

Un héros de notre temps. Trad. du russe par Mousa de Chatroff. Bruxelles, Le Carrefour, 1946. 189 p. (Collection «La perle et l'écrin»).

Le héros de notre époque. Trad. nouv. et intégrale de Marc Chapiro. Genève, Ed-s du Salève, [1947]. 206 p. (Collection populaire «Les beaux livres russes»).

Un héros de notre temps. Trad. du russe par R. Rodov. Moscou, Ed. en langues étrangères, 1947. 240 p., ill.

Le héros de notre temps. Paris, Libr. Mercure, 1946—1948. 192 p. (Collection bilingue franco-russe).

Un héros de notre temps. Paris, «Hier et Aujourd'hui», 1948. 256 p.

Un héros de notre temps. (Roman). Trad. de Boris de Schloezer. Lausanne, «La Guilde du livre», 1952. 208 p., ill.

Un héros de notre temps. Paris, Club bibliophile de France, 1954. 184 p. (Collection «La comédie universelle»).

Un héros de notre temps. Postface de I. Andronicov. Trad. du russe par R. Rodov. Ill. de D. Chmarinov et de V. Komarov. Moscou, Ed. en langues étrangères, 1955. 190 p., ill. («Les classiques russes»).

То же. 1956.

Un héros de notre temps. Trad. du russe par Alain Guillermou. Introd. par Pierre Pascal. Paris, Club bibliophile de France, 1956. 178 p. (Collection «La comédie universelle»).

Язык хинди

[Герой нашего времени] [Послесл. И. Андроникова. Пер.: Р. Ядав. Илл.: Д. Шмаринов и В. Комаров]. М., Изд. лит. на иностр. яз., 1958. 204 с. с илл. («Классики русской литературы»).

Чешский язык

Tamaň. Výňatek z příběhu nazvaného «Bohatýr našeho wěku». Přel. K. M. Letinský.— «Kwěty», t. 11, 1844, № 62, s. 247—249; № 63, s. 251—252; № 64, s. 255—256.

Podloudnici. Z Dennice Waršawské. Přel. J. Sl. T[omíček].— «Česká Wčela», t. 11, 1844, № 42, s. 165—166; № 43, s. 169—170; № 44, s. 173—174; № 45, s. 177—178.

Тамань. Отрывок. Перевод с польского.

Hrdina našeho veku.— «Pražské noviny», 1853, № 4—8, 11—14, 16—19, 22, 24, 26, 28, 30—32, 34—38, 40.

Fatalista. Přel. F. B. K.— «Pražské noviny», 1853, 24—26 mar., № 70—72.

Tamaň. Povĕst. Přel. J. Vaclík.— «Lumir», t. 4, 1854, s. 779—783, 804—808.

Bela. Úryvek z románu «Hrdina našeho vĕku». Přel. A. Štrauch.— «Lumir», t. 5, 1855, s. 1010—1017, 1039—1045, 1064—1070.

Tamaň. Přel. K. M. Letinský. Tabor, 1869.

Hrdina naší doby. Přel. Jan Žebro. Praha, Otto, [1879]. 227 s. («Laciná knihovna národní». № 29).

Bela. Přel. a úvod. opatř. Zdenĕk V. Tobolka. Praha — Vinohrady, Překladatel, 1893. 59 s.

Hrdina naší doby. Přev., úvod a pozn. opatř. Čestmír Stehlík. Praha, Otto, 1911. 259 s. («Svĕtová knihovna». № 872—874).

Dvojí dobrodružství. (Taman.— Fatalista). Přel. Stanislav Minařík. Praha, Šolc, 1916. 32 s. («Přízraky a fantasie». 9).

Dobrodružství Grigorije Alexandroviče Pečorina. Přel. Ivan Hálek (Knĕžnu Ligovskou) a Bohuslav Ilek (Hrdinu naší doby). Doslov naps. Boh. Mathesius.— В кн.: Lermontov M. J. Vybrané spisy. Sv. 2. Praha, Melantrich, 1941. 328 s.

Hrdina naší doby.— В кн.: Lermontov M. J. Výbor z díla. T. 2. Praha, «Svoboda», 1951, s. 67—199.

Hrdina naší doby. Přel. Bohuslav Ilek a Zdenka Bergrová. Predml. naps. Zdenka Bergrová. Praha, «Mladá Fronta», 1955. 152 s. («Kvĕtnice». Sv. 22).

Шведский язык

Vår tids hjelte. Ryskt original. Öfvers. från tredje uppl. af. O. M[eurman]. Förra Delen. Helsingfors, hos Simelii arfvingar, 1844. VI, 182 s.

Förord af öfversättaren — s. III—VI.

En hjelte i våra dagar. Öfvers. från ryskan av K. E. Peterson. Stockholm, Hirsch, 1888. [3], 237 s.

Fatalisten.— В кн.: Ryska novellister. Första samlingen. Stockholm, 1895, s. 5—19. («Samtidens förnämsta utländska romaner och noveller i svenska godtköpsupplagor». Bd. 10).

Min vän Petjorin. Berättelsen om en hjälte. Övers. från ryskan av K. Stéenhoff. Stockholm, Norstedt, 1926. 200 s.

Vår tids hjälte. Roman. Övers. från ryskan och försedd med inledande essay av Jarl Hemmer. Stockholm, Åhlen & Åkerlund, 1926. XV, 289 s.

Vår tids hjälte. Övers. från ryska av Ulf Malmsten och Alice Wallenius. Förord av I. Andronikov. Ill. av D. Sjmarinov, V. Komarov. Moskva, Förl. för lit. på främmande språk, 1958. 189 s., ill. («Ryska litteraturens klassiker»).

Эсперанто

Princino Mary. Rakonto. Trad. E. de Wahl. Varsovio, Zamenhof, 1889. 32 p. («Kolekto da novaj verkoj en la lingvo internacia esperanto». Kajero № 1).

Японский язык

[Герой нашего времени]. Пер. Такасака Ёсиюки. Токио, Эссандо, 1920.

[Герой нашего времени]. Пер. Накамура Хакуё. Токио, Кинсэйдо, 1924.

[Герой нашего времени]. Пер. Накамура Хакуё. Токио, Иванами сётэн, 1928.

[Герой нашего времени]. Пер. Умэда Хироси. Токио, Кайдзося, 1938.

[Герой нашего времени]. Пер. Накамура Хакуё. Токио, Иванами сётэн, 1948.

[Герой нашего времени]. Пер. Такахаси Масахира. Токио, Акацуки сёбо, 1949.

[Герой нашего времени]. Пер. Нобуюки Китагаки. Токио, Нихонхиоронша, 1950. 338 с. с илл.

[Герой нашего времени]. Пер. Масами Ичиё. Токио, Кадокава сётэн, 1954. 272 с.

[Герой нашего времени]. Пер. Тору Накамура.— В кн.: [Пушкин А. С. Евгений Онегин. Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени]. Токио, Каваде сёбо шинша, 1958.

Список библиографических источников, использованных при составлении библиографии[1]

Дукмейер Ф. Лермонтов у немцев.— В кн.: Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений. Под. ред. и с примеч. Д. И. Абрамовича. Т. 5. СПб., 1913, с. 102—115. (Акад. б-ка рус. писателей. Вып. 6).

Заболотский П. А. Лермонтов у славян. 1. Лермонтов у болгар. 2. Лермонтов у сербов и хорватов. 3. Лермонтов у словинцев. 4. Лермонтов у поляков. 5. Лермонтов у чехов. 6. Лермонтов у словаков.— Там же, с. 79—101.

Фаминский К. Н. Лермонтов у англичан.— Там же, с. 123—126.

Шульц В. К. Лермонтов в переводе французских писателей. 1842—1875.—«Русская старина», 1882, т. 34, апр., с. 223—240; май, с. 483—498; т. 35, авг., с. 297—322; 1883, т. 37, февр., с. 457—472 (Гл. 3. Герой нашего времени); т. 39, авг., с. 273—298.

Bečka J. Slavica v české řeči. 1. České překlady ze slovanských jazyku do r. 1860. Praha, Československá Akad. ved, 1955. 167 s.

Boutchik V. Bibliographie des œuvres littéraires russes traduites en français. Paris, 1935. VIII, 198 p.

Heifetz A. Lermontov in English. A list of works by and about the poet. Fore word by A. Yarmolinsky. N. Y., The New York public library, 1942. 18 p.

Index translationum. Vol. 1—9, 11, 12. Paris, UNESCO, 1949—1961.

Kozocsa S. Az orosz irodalom bibliográfiája. Budapest, Országos Széchényi könyvtár, 1947. XVI, 333 l.

Roman F. Literatura rusa şi sovietica in limba romîna. 1830—1959. Contribuţii bibliografice. Introd. de T. Gane. Bucureşti, Ed. de Stat pentru imprimate şi publicaţii, 1959. 520 p.

[1] Национальные библиографии отдельных стран в настоящем списке особо не отмечаются. Три первые перевода «Героя нашего времени» на английский язык вызвали отклик Н. Г. Чернышевского в анонимном разделе «Иностранные известия» в журнале «Современник» 1854, № 7. Перепечатано в «Полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского», т. XVI, М., 1953, стр. 247.

ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТУ РОМАНА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

1

Рукописные источники текста

1. Черновой автограф предисловия в альбоме Лермонтова 1840—1841 годов, лл. 5—7 (карандашом) — ГПБ, Собр. рукописей М. Ю. Лермонтова, № 11.

2. Авторизованная копия предисловия (рукой А. П. Шан-Гирея, с поправками рукой Лермонтова) — ИРЛИ, оп. 1, № 16 (тетрадь XV). Писано по всем признакам под диктовку Лермонтова, который затем внес в текст некоторые изменения. Воспроизводит текст предыдущего автографа, от которого отличается вариантами, сделанными по ходу диктовки.

3. Тетрадь, содержащая рукописные тексты «Максима Максимыча» (лл. 2—8), «Фаталиста» (лл. 9—15) и «Княжны Мери» (лл. 16—58); всё написано рукой Лермонтова, за исключением куска от слов: «Нынче поутру у колодца», кончая словами: «и хотел разгорячиться», написанного рукой А. П. Шан-Гирея (с поправками Лермонтова). На обложке — рукой Лермонтова: «Один из героев начала века» (ГПБ, Собр. рукописей М. Ю. Лермонтова, № 2).

Рукопись производит впечатление перебеленной, но по всем признакам это не копия с черновика, а первоначальный текст. С. А. Раевский писал А. П. Шан-Гирею 8 мая 1860 года: «Мишель почти всегда писал без поправок» («Русск. обозрение», 1890, кн. 8, стр. 34).

4. Автограф предисловия к «Журналу Печорина» — лист, приклеенный к л. 2 предыдущей рукописи.

5. Авторизованная копия «Тамани» (рукой А. П. Шан-Гирея с поправками рукой Лермонтова) — ГПБ, Собр. рукописей М. Ю. Лермонтова, № 3. На л. 1 пометка П. Висковатого: «Писано рукою двоюродного брата Лермонтова Ак. Павл. Шан-Гирея, коему Лерм. порою диктовал свои произв.».

Печатные источники текста

1. «Отеч. записки», 1839, т. 2, № 3, отд. III, стр. 167—212. Первопечатный текст «Бэлы» под заглавием: «Бэла. (Из записок офицера о Кавказе)».

2. «Отеч. записки», 1839, т. 6, № 11, отд. III, стр. 146—158. Первопечатный текст «Фаталиста» под заглавием «Фаталист» и с примечанием редакции: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе. Ред.».

3. «Отеч. записки», 1840, т. 8, № 2, отд. III, стр. 144—154. Первопечатный текст «Тамани» под заглавием «Тамань» и с примечанием редакции: «Еще отрывок из записок Печорина, главного лица в повести „Бэла", напечатанной в 3-й книжке Отеч. записок 1839 года».

4. «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова», части I и II. СПб., 1840. Первое отдельное издание (без предисловия). Цензурные даты обеих частей — 19 февраля 1840 года. Здесь впервые напечатаны: «Максим Максимыч», предисловие к «Журналу Печорина» и «Княжна Мери».

5. «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова», части I и II, издание второе, СПб., 1841.

Цензурная дата первой части — 19 февраля 1841 года, второй — 3 мая 1841 года. Здесь впервые напечатано предисловие к роману — перед второй частью, с отдельной римской пагинацией, без указания в оглавлении; это произошло, очевидно, по техническим причинам,— вследствие позднего поступления рукописи предисловия.

2

Сличение всех указанных рукописных и печатных источников (с максимальной точностью и полнотой варианты к основному тексту романа «Герой нашего времени» опубликованы в академическом издании сочинений М. Ю. Лермонтова, т. VI, М.— Л, 1957, стр. 561—615) приводит к следующим заключениям:

1) Текст второго отдельного издания (1841) представляет собой перепечатку первого издания (за исключением предисловия к роману, которое напечатано во втором издании впервые) с точным воспроизведением внешнего вида (совпадение страниц и строк). Большая часть его разночтений с первым изданием — результат типографских ошибок или корректорской правки, но есть несколько несомненных авторских исправлений.

2) Текст первого отдельного издания (1840) отличается от рукописных и первопечатных журнальных текстов целым рядом разночтений, часть которых является, несомненно, результатом авторской правки.

3) Между рукописью «Один из героев начала века» и первопечатными текстами соответствующих новелл («Максим Максимыч», «Княжна Мери» и «Фаталист») была промежуточная наборная копия, содержавшая значительное количество ошибок переписчика (неверно прочитанные слова и пропуски), не замеченных Лермонтовым и потому проникших в печать. То же следует сказать о тексте «Тамани».

4) В тексте «Княжны Мери» в обоих изданиях отсутствуют две фразы, имеющиеся в автографе и исчезнувшие, очевидно, по цензурным причинам: 95 — «на

небесах не более постоянства, чем на земле» и стр. 97 — «Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?». В печатных текстах «Фаталиста» отсутствует (очевидно тоже по цензурным причинам) одно слово, имеющееся в автографе: в фразе «Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников» (стр. 110) нет слова «христианами». О цензурной истории «Фаталиста» при печатании его в «Отеч. записках» см. статью Н. Здобнова «Новые цензурные материалы о Лермонтове» («Красная новь», 1939, № 10—11).

Эти наблюдения и послужили основанием для печатания текста «Героя нашего времени» по второму отдельному изданию (1841) с устранением из него явных ошибок и цензурных искажений.

Кроме того, в «Княжне Мери» мы восстанавливаем рукописную датировку записей Печорина, начиная с записи от 22 мая. В печати (уже в издании 1840 года) даты эти изменены по сравнению с автографом, но произошло это, несомненно, в результате какой-то ошибки. В записи от 21 мая говорится: «завтра бал по подписке в зале ресторации»; следующая запись, рассказывающая о событиях на балу и сделанная, очевидно, непосредственно после него, датирована в автографе 22 мая, а в печати — 29 мая. Это вносит явную бессмыслицу, усугубляемую тем, что в следующей записи, датированной в автографе 23 мая, а в печати — 30 мая, Грушницкий благодарит Печорина за то, что Печорин *вчера* (т. е. 22 мая, как и должно было быть) защитил Мери. Далее в печатных датировках появляется еще одна бессмыслица — явный результат недосмотра: после даты «6-го июня» следует дата «13 июня» (в автографе в первом случае — «22 мая», во втором — «3 июня»), а затем — «12-го июня». Надо полагать, что основная ошибка, превратившая дату «22 мая» в дату «29 мая», повлекла за собою дальнейшие изменения и ошибки. В изданиях 1840 и 1841 годов даты записей (после 21 мая) следующие: 29 мая, 30 мая, 6 июня, 13 июня, 12 июня, 13 июня, 14 июня, 15 июня, 18 июня, 22 июня, 24 июня, 25 июня, 26 июня, 27 июня. В прежних изданиях (Висковатова, Введенского, в Соч. изд. Академической библиотеки, в изд. «Academia») делалась только одна поправка: дату «13-го июня» в первом случае заменяли датой «11-го июня»; остальные даты воспроизводились по изданию 1840 года. Мы решили вернуться к рукописным датировкам вообще, поскольку первая же печатная дата, расходящаяся с рукописной (29 мая), вносит явную путаницу.

В тексте настоящего издания, критически установленном Б. М. Эйхенбаумом, после его кончины (24 ноября 1959 г.) сделаны еще два уточнения О. К. Логиновой (по автографу). Стр. 69. Вместо «Не спуская с глаз своей богини» — «Не спуская глаз с своей богини». Стр. 83. Вместо «Многотрудное здание из хитростей и обманов» — «Многотрудное здание их хитростей и обманов».

⟨Предисловие⟩

Предисловие к «Герою нашего времени» было написано в Петербурге весной 1841 года и впервые появилось во втором издании романа (1841). Лермонтов полемизирует с Шевыревым, объявившим в «Москвитянине» (1841, ч. I, № 2) Печорина

явлением порочным, не свойственным русской жизни, а навеянным влиянием Запада. Резкая отповедь Шевыреву тем более интересна, что в юношеские годы (в Благородном пансионе) Лермонтов, участвуя в кружке С. Е. Раича, относился к Шевыреву с большим вниманием (см. «Романс» 1829 года — «Коварной жизнью недовольный»). Говоря о других критиках, которые «очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых», Лермонтов имел в виду, главным образом, С. Бурачка, напечатавшего статью о «Герое нашего времени» в своем журнале «Маяк» (1840, ч. IV, стр. 210—219). В первоначальной редакции предисловия это место написано гораздо резче и обращено прямо против Бурачка и его «ничтожного» журнала.

В этой редакции Лермонтов называет тех «трагических и романтических злодеев», которыми тогда увлекались: «Если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других — отчего же вы не верите в действительность Печорина?». Если учесть мнение Николая I о «Герое нашего времени» (а надо думать, что оно было известно Лермонтову), то смысл предисловия становится еще более значительным: отвечая Шевыреву, Лермонтов отвечает и Николаю I, назвавшему его роман «жалкой книгой, обнаруживающей испорченность автора» («Дела и дни», 1921, № 2, стр. 189).

Начало предисловия содержит очень важные указания на то, что публика не поняла общественной иронии, заложенной в романе: «Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения». Лермонтов жалуется на «несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов». Это явный намек на то, что в романе есть второй, не высказанный прямо смысл — трагедия целого поколения, обреченного на бездействие. Именно так понял эти слова Белинский, когда, процитировав целиком всё предисловие (как лучший пример того, что значит «иметь слог»), прибавил: «Какая сжатость, краткость и, вместе с тем, многозначительность! Читая строки, читаешь и между строками; понимая ясно всё сказанное автором, понимаешь еще и то, чего он не хотел говорить, опасаясь быть многоречивым» (Белинский, Полн. собр. соч., т. V, 1954, стр. 455).

Бэла

[1] *Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче.* — А. П. Ермолов, генерал-от-инфантерии, герой Отечественной войны, был командиром Отдельного Кавказского корпуса в 1816—1827 гг.

[2] *...у Каменного Брода...* И. Андроников пишет: «Это не выдумано: Лермонтов называет конкретное место. Крепость находится на Аксае, в 18 верстах от Шелковой станции за переправой, и называлась „Таш-Кичу" или „Каменный брод". Выстроена она при Ермолове, одновременно с крепостью «Внезапной» и обеспечивала линию, шедшую по рекам Аксай и Акташ, от набегов чеченцев» (И. Андроников. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., 1955, стр. 177).

[3] *...как напьются бузы... Буза* — сусло, молодое вино.

[4] *...у мирно́ва князя был в гостях.* «*Мирны́ми*» назывались чеченцы, черкесы и другие горцы, признавшие власть русских; однако обычно эти признания были

вынужденными, так что деление горцев на «мирны́х» и «немирны́х» (ср. ниже о Казбиче) не соответствовало действительности.

[5] *...яман будет твоя башка. Яман* (тюркское) — плохая.

[6] *...моего старого знакомца Казбича. Казбич* — реальное историческое лицо: вождь шапсугов, руководивший ими в борьбе с русскими войсками. См. очерк Н. О. Лернера. «Оригинал одного из героев Лермонтова» («Нива», 1913, № 37).

[7] *... таскаться за Кубань с абреками...* По определению Л. Н. Толстого (в повести «Казаки»), «абреком называется немирно́й чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека».

[8] *...якши тхе, чек якши* (тюркское) — хорошо, очень хорошо.

[9] *...сухие сучья карагача... Карагач* (тюркское) — дерево, вид вяза.

[10] *...выскакивает прямо к ним мой Карагёз. Карагёз* (тюркское) — черный глаз.

[11] *Йок* (тюркское) — нет.

[12] *...а шашка его настоящая гурда... Гурда* — название лучших кавказских клинков (ср. в очерке Лермонтова «Кавказец»: «...у него завелась шашка, настоящая гурда»). Л. Н. Толстой (в повести «Казаки») объяснил это слово так: «Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру — Гурда».

[13] *...Много красавиц в аула́х у нас* и т. д. — вариант «Черкесской песни» из поэмы Лермонтова «Измаил-Бей».

[14] *...натянулись бузы...* См. прим. 3.

[15] *...Урус яман* (тюркское) — русский плохой.

[16] *...отпрягши заранее уносных... Уносные* — передняя пара лошадей при запряжке четверкой.

[17] *...как называет ее ученый Гамба... Гамба́* — фамилия французского консула в Тифлисе, Jacques-François Gamba (1763—1833), автора популярной тогда книги о путешествии по Кавказу: Voyage dans la Russie méridionale et particulièrement dans les provinces siluées au-de là du Caucase, fait depuis 1820 jusqu' en 1824 an., 2 vol., avec une carte géographique, Paris, 1824. Второе издание вышло в 1826 году. Лермонтов имеет в виду следующее место в этой книге: «Наши лошади постепенно углублялись в снег и лед, и мы были вынуждены обратиться к помощи волов, отданных в наше распоряжение; они после четырех верст медленного и тяжелого ходу подвезли нас на вершину горы св. Кристофа, до высшей точки нашего путешествия» (стр. 34).

[18] *...Байдара так разыгралась... Байдара* — название горной реки (правого притока Терека), протекающей в Байдарском ущелье, между станциями Койшаур и Коби.

[19] *У меня был кусок термаламы... — Термалама* — плотная шелковая ткань, выделываемая в Персии и Турции.

Максим Максимыч

[1] *...завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владикавказ. Казбек* — станция на Военно-Грузинской дороге у подножия горы Казбек, в 42 верстах от Владикавказа; *Ларс* — станция на Военно-Грузинской дороге, в 25 верстах

от Владикавказа; *Владикавказ* — первоначально крепость на Тереке, основанная русскими в 1784 г. для защиты Военно-Грузинской дороги. Ныне город Орджоникидзе.

[2] *...нечто вроде русского Фигаро. Фигаро* — имя камердинера в комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

[3] *...он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала.* Имеется в виду героиня романа Бальзака «Тридцатилетняя женщина», подробно описанная как женщина очень изнеженная: «Маркиза опиралась на подлокотники кресла, и вся ее фигура... и то, как утомленно склонялся в кресле ее гибкий стан» и т. д. (О. Бальзак, Собрание сочинений, т. II, М., 1952, стр. 139).

Тамань

В мемуарной литературе есть указания на то, что описанное в «Тамани» происшествие случилось с самим Лермонтовым во время его пребывания в Тамани у казачки Царицыхи в 1837 году («Русск. архив», 1893, № 8; ср.: «Русск. обозрение», 1898, № 1). В 1838 году товарищ Лермонтова по полку М. И. Цейдлер, командированный на Кавказ, останавливался в Тамани и жил в том самом домике, где до него жил Лермонтов. В своем очерке «На Кавказе в 30-х годах» Цейдлер описывает тех самых лиц, которые изображены в «Тамани», и поясняет: «Мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь» («Русск. вестник», 1888, № 9).

[1] *В тот день немые возопиют и слепые прозрят...* Измененная цитата из Библии: «...в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых» (Книга пророка Исайи, гл. 29, стих 18).

[2] *...это открытие принадлежит Юной Франции. «Юная Франция»* (Jeune France») — так называли себя молодые французские писатели романтического направления после революции 1830 г.

[3] *...я вообразил, что нашел Гётеву Миньону... Миньона* — героиня романа Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера».

[4] *...то была она, моя ундина. Ундина* — русалка в немецком фольклоре. Лермонтовский образ был навеян «Ундиной» Жуковского — поэмой («старинной повестью»), представляющей собою переложение стихами прозаической повести немецкого писателя Фридриха де Ламотт-Фуке.

Княжна Мери

В дневнике Печорина завершены те опыты, которые были начаты Лермонтовым в романе «Княгиня Лиговская» и в драме «Два брата». Автохарактеристика Печорина («Да! такова была моя участь с самого детства») перенесена сюда прямо из драмы «Два брата».

Грушницкий и доктор Вернер, как указывали еще современники, «списаны» Лермонтовым с действительных лиц. Н. М. Сатин писал: «Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мери и Грушницкого и особенно доктора Вернера» (сборник «Почин», 1895, стр. 239). Прототип доктора Вернера несомненен: это доктор Н. В. Майер, служивший на Кавказе (см. «Русск. архив», 1883, № 5, стр. 177—180; «Мир божий», 1900, № 12, стр. 230—239; «Лит. наследство», т. 45—46, 1948, стр. 473—496). Что касается Грушницкого, то мнения расходятся: одни видят в нем портрет Н. П. Колюбакина, другие — будущего убийцы Лермонтова Н. С. Мартынова. Н. П. Колюбакин был сослан на Кавказ рядовым в Нижегородский драгунский полк; будучи приятелем Марлинского, он вел себя несколько в духе его героев (см.: В. Потто. История 44-го драгунского Нижегородского полка, т. IV. СПб., 1894, стр. 59—60; «Истор. вестник», 1894, № 11 — воспоминания А. А. Колюбакиной; «Русск. архив», 1874, кн. 2, стлб. 955). В Вере Лиговской одни видят В. А. Лопухину, другие — Н. С. Мартынову, сестру убийцы Лермонтова (см.: Материалы для истории Тамбовского, Пензенского и Саратовского дворянства. 1904, А. Н. Нарцов, стр. 177, Приложения; «Русск. обозрение», 1898, кн. 1, стр. 315—316). На самом деле всё это, конечно, лица собирательные, не «списанные», а созданные на основе наблюдений над действительностью.

[1] *...«последняя туча рассеянной бури»* — цитата из стихотворения Пушкина «Туча».

[2] *...узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.* Наличие у Печорина армейских эполет свидетельствует о том, что он был переведен из гвардии в армейскую часть. О том же свидетельствует и дальнейшее упоминание о «нумерованной» пуговице: на пуговицах отмечались тогда номера армейских частей.

[3] *А что за толстая трость — точно у Робинзона Крузое.* У Робинзона Крузо (в романе Даниеля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузое») — не трость, а сделанный им самим зонтик.

[4] *...как делали римские авгуры, по словам Цицерона... Авгуры* — жрецы-гадатели в древнем Риме. В трактате «О гадании» Цицерон говорит: «Очень хорошо известны слова Катона, который говорил, что он удивляется, почему не смеется авгур, когда видит другого авгура».

[5] *...из Пятигорска в немецкую колонию... Немецкая колония* — место по дороге из Пятигорска в Железноводск, носившее название «Каррас» или «Шотландка». Лермонтов был здесь перед самой дуэлью — 15 июля 1841 г.

[6] *...смесь черкесского с нижегородским.* Переделка слов Чацкого в I действии «Горя от ума» Грибоедова: «Господствует еще смешенье языков: французского с нижегородским».

[7] *...одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.* Подразумевается приятель Пушкина — гусар Петр Павлович Каверин (1794—1855), упоминаемый в первой главе романа «Евгений Онегин».

[8] *Но смешивать два эти ремесла...* — неточная цитата из «Горя от ума» Грибоедова (слова Чацкого в III действии). У Грибоедова: «А смешивать два эти ремесла/ Есть тьма искусников, я не из их числа».

[9] *Ума холодных наблюдений...* — цитата из посвящения «Евгения Онегина» (П. А. Плетневу).

[10] *Вернер намедни сравнил женщин с заколдованным лесом.* Лермонтов имеет в виду то место в поэме Торквато Тассо (1544—1594) «Освобожденный Иерусалим», где рассказывается, как рыцарь Танкред вступил в очарованный лес (песнь XIII, строфа 18 и сл.).

[11] *Есть минуты, когда я понимаю Вампира.* Вампиром назван отличающийся своей жестокостью герой популярной тогда одноименной английской повести, записанной со слов Байрона его доктором Полидори и переведенной на русский язык. Перевод этот вышел в Москве в 1828 году: «Вампир. Повесть, рассказанная лордом Байроном. (С английского) П⟨етр⟩ К⟨иреевский⟩». В черновом автографе предисловия к «Герою нашего времени» Лермонтов писал: «Если вы верили существованию Мельмота, Вампира и других — отчего же вы не верите в действительность Печорина?».

[12] *...не падайте заране; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря.* В числе дурных предзнаменований, сопровождавших Юлия Цезаря на пути в сенат (где он был убит), древние историки указывают и на то, что он оступился на пороге.

Фаталист

Для понимания «Фаталиста» необходимо учесть, что под словом «фатализм» Лермонтов подразумевал не только фаталистическое умонастроение вообще, но и распространенную в это время (и осужденную в «Думе») позицию пассивного «примирения с действительностью». См. выше.

Что касается Вулича, то в литературе о «Герое нашего времени» указывается на сходство этого лица с поручиком лейб-гвардии Конного полка И. В. Вуичем, описанным в «Воспоминаниях» Г. И. Филипсона (М., 1885, стр. 85). Это сходство поддерживается тем, что в рукописи «Фаталиста» фамилия Вулича — Вуич.

КАВКАЗЕЦ

Этот очерк, очень близкий биографии Максима Максимыча в романе «Герой нашего времени», впервые был опубликован Н. О. Лернером в журнале «Минувшие дни» (1929, № 4) по копии, хранящейся в ГПБ. Автограф неизвестен. Рукою переписчика в копии отмечено: «Список с статьи собственноручной покойного М. Лермонтова, предназначенной им для напечатания в „Наших“ и не пропущенной цензурою».

В первом выпуске известного сборника «Наши, списанные с натуры русскими», изданном А. П. Башуцким (дата цензурного разрешения выпуска — 10 октября 1841 г.), в предисловии упоминался, среди статей, подготовленных для этой серии, и очерк «Кавказец» без указания имени автора.

Написанный, вероятно, весною 1841 г., в последний приезд Лермонтова в Петербург, «Кавказец» является одним из первых русских «физиологических очерков», с которых началась деятельность писателей «натуральной школы», вдохновляемой Гоголем и Белинским.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Михаил Юрьевич Лермонтов

Герой нашего времени

Утверждено к печати Редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор *О. К. Логинова*. Технический редактор *Т.П.Поленова*.
Художник *В. Ф. Ишутин*. Корректор *В.Т. Макаров*

РИСО АН СССР № 1—123В. Сдано в набор 25/XI 1961 г. Подписано к печати 28/II 1962 г.
Формат 70×90¹/₁₆ Печ. л. 14,25 + 3 вкл. Усл.-печ. л. 16,67+0,44 вкл. Уч. изд. л. 15,1 (14,9+0,2 вкл.)
Тираж 25000 экз. Изд. № 229. Тип. зак. 2609.

Цена 1 руб. 13 коп.

Издательство Академии наук СССР. Москва, Б-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография Издательства АН СССР. Москва, Г-99, Шубинский пер., 10



1 р. 13 к.

ЛП

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

ГО ВРЕМЕНИ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ



ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ